



библиотека
журнала

ИСТОРИЯ АНТРОПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

неприкосновенный
запас

Демонтаж коммунизма

Тридцать лет спустя

Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

**Демонтаж коммунизма.
Тридцать лет спустя**

«НЛО»

2021

Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя / «НЛО»,
2021 — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-44-481475-8

Эта книга посвящена 30-летию падения Советского Союза, завершившего каскад крушений коммунистических режимов Восточной Европы. С каждым десятилетием, отделяющим нас от этих событий, меняется и наш взгляд на их последствия – от рационального оптимизма и веры в реформы 1990-х годов до пессимизма в связи с антилиберальными тенденциями 2010-х. Авторы книги, ведущие исследователи, историки и социальные мыслители России, Европы и США, представляют читателю срез современных пониманий и интерпретаций как самого процесса распада коммунистического пространства, так и ключевых проблем посткоммунистического развития. У сборника два противонаправленных фокуса: с одной стороны, понимание прошлого сквозь призму сегодняшней социальной реальности, а с другой – анализ современной ситуации сквозь оптику прошлого. Дополняя друг друга, эти подходы позволяют создать объемную картину демонтажа коммунистической системы, а также выявить блокирующие механизмы, которые срабатывают в различных сценариях транзита.

ISBN 978-5-44-481475-8

, 2021

© НЛО, 2021

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ВВЕДЕНИЕ: ДРАМА ОЖИДАНИЙ/ДРАМА ПОНИМАНИЙ	7
Часть 1	24
ТЕРНИИ «НОРМАЛЬНОСТИ»	24
ПЯТЬ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД	34
ДРАМА ТРАНЗИТА КАК ИСТОЧНИК ЕГО	47
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ	
ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТОРОВ	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Демонтаж коммунизма Тридцать лет спустя

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателя книга выходит в 2021 году. Тридцать лет назад перестал существовать Советский Союз, что, по общему мнению, стало событием глобального значения. Но если искать начальную точку этого процесса, то все сходится на 1989 году.

Именно тогда волна демократических революций в странах так называемого «социалистического лагеря» снесла не только Берлинскую стену, но и «железный занавес» между Востоком и Западом. И здесь давайте отдадим должное тогдашнему политическому руководству Советского Союза, и прежде всего отцу перестройки – Михаилу Горбачеву. Они начали пусть не последовательные, но настоящие реформы в сердцевине коммунистической системы, что и обеспечило благоприятные условия для освобождения стран Центральной Европы от советского контроля.

Чуть позже, в 1991 году, революционная волна докатилась до СССР, который в результате прекратил свое существование. На его месте появилось целое созвездие новых независимых государств, каждое из которых пошло своим историческим путем. Искренний порыв сотен миллионов людей постсоветского мира к демократии и свободе, к устройству жизни в соответствии с базовыми европейскими ценностями натолкнулся на многие объективные и субъективные препятствия.

Что мы видим сейчас, спустя три десятилетия? Очень пеструю картину. С одной стороны, вся Центральная Европа вошла в Европейский союз и НАТО, там же и Прибалтийские республики. С другой стороны, мы видим явное доминирование авторитарных тенденций в России, Белоруссии, Азербайджане. А такие страны, как Украина, Молдова, Грузия и Армения, с разным успехом пытающиеся выбраться из болота советского наследия, регулярно переживают политические потрясения. Но и в, казалось бы, вполне европейских по устройству жизни странах Центральной Европы начали появляться ростки мягкого авторитаризма, когда правящая партия пытается взять под свой контроль судебную систему и медиа, ограничить политическую конкуренцию.

Нам, в Экспертной группе «Европейский диалог», показалось интересным провести анализ тенденций за истекший с момента фактического краха коммунистической системы период, с тем чтобы извлечь уроки для общеевропейского будущего. А оно обещает быть беспокойным. Недоброжелатели в очередной раз пророчат закат европейской цивилизации. И необходимо активизировать все интеллектуальные и экспертные силы, чтобы достойно ответить на те вызовы, которые пришли с XXI веком и продолжают появляться (самый свежий пример – коронавирусная пандемия).

Представляемая Экспертной группой «Европейский диалог» книга является результатом реализации проекта «Тридцать лет постсоветской Европы». В рамках этого проекта в 2019 году мы провели две большие международные конференции – в Юрмале (Латвия) и Москве. Материалы представленных на них докладов и послужили основой книги, составителем которой стал программный директор проекта Кирилл Рогов. Надеемся, что те мысли, которые отражены на ее страницах, помогут усилиям по обретению европейской цивилизацией «второго дыхания».

Успешная реализация проекта и подготовка книги были бы невозможны без всесторонней поддержки наших партнеров, которым мы выражаем нашу искреннюю благодарность:

– Дмитрию Борисовичу Зимину и Zimin Foundation;

- Балтийскому форуму (Янис Урбанович, Игорь Юргенс);
- Международному фонду социально-экономических и политологических исследований (Фонд Горбачева) (Ольга Здравомыслова);
- Представительству Европейского союза в Российской Федерации (Маркус Эдерер);
- филиалу Фонда имени Генриха Бёлля в Москве (Йоханнес Фосвинкель);
- Фонду имени Фридриха Эберта, Россия (Пеер Тешендорф).

*Евгений Гонтмахер,
научный руководитель Экспертной группы
«Европейский диалог»*

ВВЕДЕНИЕ: ДРАМА ОЖИДАНИЙ/ ДРАМА ПОНИМАНИЙ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ТРАНЗИТА И СПОРОВ О НЕМ

Кирилл Рогов

Прошедшие в апреле – мае 1989 года первые в СССР альтернативные выборы народных депутатов дали старт политической реформе, переносившей опоры государственной власти от партийных к представительным выборным органам. В том же 1989 году в считанные месяцы – с июня (победа «Солидарности» на выборах в Польше) по декабрь – волна «бархатных революций» буквально смыла коммунистические режимы Центральной Европы, казавшиеся еще за пару лет или даже за несколько месяцев до того совершенно незыблемыми. Опубликованная летом 1989 года статья Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» констатировала поражение и крах коммунистической системы как исторического проекта. В феврале – марте 1990 года под напором невиданных по массовости демонстраций руководство СССР вынуждено было исключить из советской Конституции 6-ю статью, закреплявшую монополию коммунистической партии на власть. На прошедших затем выборах в Верховные Советы союзных советских республик в четырех из них (республиках Балтии и Грузии) антикоммунистическая оппозиция получила большинство, а еще в целом ряде других – создала мощные фракции в парламенте. И хотя Советский Союз просуществует еще до конца 1991-го, основным сюжетом этого года станут споры о стратегии перехода к рынку, о границах суверенитета различных его территорий и фактический демонтаж старых структур власти. Потому именно 1989–1990 годы можно и следует считать эпохой антикоммунистической революции, положившей конец этому социальному проекту. Этот же период стал и подлинным апогеем надежд и ожиданий, связанных с относительно бескровным, почти волшебным крушением коммунизма. Судьба этих ожиданий, равно как народов и стран, их испытывавших, в течение тридцати последовавших лет и составляет главный предмет этой книги.

ТРИ ПЕРИОДА ПОСТКОММУНИЗМА И ТРИ ЭПОХИ ЕГО ОСМЫСЛЕНИЯ

За прошедшие тридцать лет изучение посткоммунизма – политической, социальной и экономической эволюции бывших коммунистических стран – сложилось в целую сферу гуманитарных знаний. Еще более замечательно, что понимание природы транзита за это время пережило несколько этапов глубокого переосмысления, сменявших друг друга по мере того, как менялась историческая картина посткоммунистической ойкумены.

Первый этап, характерный для 1990-х годов, был в наибольшей степени исполнен рационального оптимизма и веры в реформы как инструмент социальной реконструкции. В полном соответствии с тезисами Фукуямы западная модель либеральной рыночной демократии выглядела единственной мыслимой альтернативой не выдержавшему исторической конкуренции социализму, а потому предполагалось, что все посткоммунистические страны, хотя и с разной скоростью, с разным набором недоделок и ошибок, будут двигаться, в сущности, единственной дорогой строительства социального порядка, аналогичного западному (см. об этом в разделе Ивана Крастева в настоящей книге). Возникла даже особая дисциплина – транзитология, – ставившая своим предметом изучение оптимальных и неоптимальных стратегий этого движения и его закономерностей, выработку рекомендаций по трансплантации лучших

практик. Важнейшей презумпцией этой идеологии была мысль о том, что посткоммунистические общества и элиты, уже имеющие перед глазами образцы эффективно работающих в странах Запада институтов, могут воспользоваться этим багажом, пропустив промежуточные стадии и трансплантировав на национальную почву «зрелые» формы современного либерального капитализма. Эта презумпция формулировалась как «преимущество догоняющего развития»¹.

Однако уже в первой половине 2000-х годов разочарование в предположениях этого подхода вполне обозначилось и было вполне отрефлексовано². С одной стороны, к этому моменту не только страны Восточной Европы, но и все республики бывшего СССР, преодолев трансформационный экономический спад и периоды политической турбулентности, вышли на траекторию экономического роста, обрели более устойчивые правительства и как-то функционирующие политические институты. Однако именно в этот момент стало очевидно, что значительная часть из них не готова и не намерена двигаться в соответствии с теми алгоритмами, которые мыслились как наиболее короткий и правильный способ усвоения институтов и практик либерально-демократической модели. Отказавшись от коммунистической идеологии и допустив идею частной собственности и свободные цены, эти страны между тем не прилагали усилий для установления порядка верховенства закона, ограничивали или стремились ограничить политическую конкуренцию и предпочитали зафиксировать и сохранять достигнутые в ходе борьбы и противостояний 1990-х – пусть и неоптимальные – политические равновесия, нежели экспериментировать с ними во имя целей «правильных» реформ.

Этот этап осмысления посткоммунистического транзита можно назвать нормативистским. Посткоммунистические страны были поделены на «отличников», которые продемонстрировали впечатляющий прогресс в продвижении к стандартам западной модели, и «отстающих», не сумевших воспользоваться предложенным чертежом и застрявших на полдороге или даже обратившихся вспять (среди последних числились в основном республики бывшего СССР). Исследователи преимущественно были заняты поиском ответа на вопрос «почему у одних стран получилось, а у других не получилось?» и осмыслением того, где и кем были совершены ошибки и чего не хватило сошедшим с рельсов вестернизации обществам и элитам (ср. характерное заглавие книги Стивена Фиша «Democracy derailed in Russia: The failure of open politics»³).

Однако через десять с небольшим лет, в конце 2010-х годов, картина еще раз существенным образом изменилась. Если 2000-е годы для большинства посткоммунистических стран Евразии были эпохой экономических успехов, связанных с возможностями восстановительного роста, благоприятной мировой конъюнктурой и прогрессом глобализации, то 2010-е годы, наоборот, стали периодом, когда эти благоприятные факторы перестали действовать или заметно ослабли (средние темпы роста центральноевропейских и постсоветских стран замедлились с 5,7% в 2000-х до 2,6% в следующем десятилетии). К концу 2010-х годов большинство стран и территорий, которые 10–15 лет назад считались «отличниками» в продвижении к западной модели, либо оказались захвачены реверсивным трендом – по крайней мере частичным отказом от идеалов либеральной демократии (Венгрия, Польша), либо погрузились в глубокую фрустрацию и рессентимент (Болгария, Прибалтика, Восточная Германия). Несмотря на успешную институциональную интеграцию в Большую Европу, их население ощущает себя ее глубокой периферией, переживает мощный отток рабочей силы, в особенности

¹ См., например: *Гайдар Е.* Современный экономический рост и догоняющее развитие // *Мировая экономика и международные отношения.* 2003. № 8.

² Знаковыми для этого этапа осмысления посткоммунистического транзита стали, в частности, статья Томаса Карозеса «Конец парадигмы транзита» (*Carothers T.* The end of transition paradigm // *Journal of democracy.* 2002. № 1) и статья Майкла Макфола «Четвертая волна перехода к демократии и диктатуре» (*McFaul M.* The fourth wave of democracy and dictatorship: noncooperative transitions in the post communist world // *World politics.* 2002. P. 212–244).

³ *Fish M. S.* Democracy derailed in Russia: The failure of open politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

молодых и перспективных когорт, и не располагает ресурсами для экономического рывка, при том что уровень жизни остается здесь на порядок ниже, чем в «Европе первого сорта».

С другой стороны, многие из тех стран, которые 10 лет назад были признаны «двоечниками» транзита и стали объектом сурового анализа, вскрывающего причины их неудач, вовсе не склонны «исправлять ошибки» и считать себя «отстающими», а, наоборот, мыслят себя в роли вполне состоятельных примеров альтернативной модели «нелиберального капитализма», критически настроены ко многим аспектам западного уклада и не рассматривают либеральную демократию как перспективную цель и образец. Через тридцать лет после ошеломительного краха «коммунистической альтернативы» и «конца истории» конкуренция моделей социально-политического развития вновь оказалась – по крайней мере отчасти – на повестке дня, хотя теперь это «соревнование» не между социализмом и капитализмом, а между либеральным капитализмом и капитализмом не- или даже антилиберальным.

Эта новая картина отдаленных последствий краха коммунизма заставляет нас существенно переосмыслить события 30-летней давности. Специфика изучения событий новейшей истории состоит в том, что по мере того, как мы удаляемся от исторического события и узнаем его все более отдаленные последствия, меняется и наше представление о самом этом событии – о значимости и взаимосвязи тех или иных факторов и обстоятельств. Предлагая своеобразный срез современного понимания уроков транзита и посткоммунистического тридцатилетия, настоящая книга представляет читателю взгляды, мнения и интерпретации этой новой, третьей, стадии его переосмысления и пытается ответить на круг поставленных перед нами третьим десятилетием транзита новых вопросов.

ДРАМА ОЖИДАНИЙ: ДЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕССИМИЗМА

Как уже было сказано, поразительным образом именно те, кто 10–15 лет назад считались «лучшими учениками», прекрасно усвоившими уроки антикоммунизма, и в наибольшей степени продвинулись в адаптации и усвоении институтов и правил либеральной демократии и рыночной экономики – страны Центральной и Восточной Европы, – на третьем десятилетии транзита оказались охвачены глубоким ресентиментом. Этот ресентимент где-то проявляет себя в формах социальной депрессии, а где-то принял форму настоящего электорального восстания против либерального европейского мейнстрима, что можно наблюдать не только в Польше или Венгрии, но и в Восточной Германии, голосующей за левые и ультраправые партии. При этом лежащие на поверхности гипотезы – обращение к экономическим факторам или попытки объяснения этого поворота «зависимостью от прошлого», незавершенным ценностным переходом, – хотя и небеспочвенны, но выглядят недостаточно убедительно.

Иван Крастев в своей теории исчерпанной повестки имитации обращается к пласту социальных реакций жителей Центральной и Восточной Европы, связанных не с коммунистическим прошлым как таковым, но именно с ожиданиями и опытом транзита. В этой перспективе нынешний кризис либеральной демократии и ресентимент Центральной Европы выглядят результатом не неудачи, а скорее успеха транзита: например, ВВП Польши утроился по сравнению с коммунистическим временем, неравенство сокращается. Корни ресентимента следует искать в ожиданиях и предположениях 1989 года: знаменитая статья Фрэнсиса Фукуямы объявила не только конец коммунизма, но и конец конкуренции социально-политических проектов и безальтернативность либеральной западной модели. Соответственно, все, что нужно было делать, это по возможности точно имитировать Западную Европу в своих национальных границах. При этом, с одной стороны, уровень и качество жизни в Центральной Европе так и не достигли уровня Запада, с другой – приблизиться к ним можно было, не дожидаясь плодов имитации в своей стране, но сразу переехав на Запад. В результате около 25 млн человек просто уехало из Восточной Европы в Западную. И наконец, стратегия имитации

неизбежно вызывает напряжение между имитирующим и имитируемым, пишет Иван Крастев, и, как это бывает в среде эмигрантов, во втором поколении возникает спрос на идентичность, а повестка имитации выглядит ущербной и бесперспективной. Имитационная модель транзита недооценила психологическую и социальную потребность иметь альтернативу и выбор, именно поэтому столь влиятельная в свое время статья Фукуямы была в следующей эпохе подвергнута столь ожесточенной критике, а промежуточные успехи имитации выглядят для восточноевропейского общества свидетельством не столько социальных достижений, сколько социальной неполноценности.

Если предметом анализа Ивана Крастева стали массовые ожидания и массовые фрустрации жителей Восточной Европы, то Андрей Мельвиль и Георгий Сатаров обращаются к теоретическим ожиданиям элит, политиков и социальных исследователей, то есть обращаются от драмы ожиданий к драме пониманий. Статья Георгия Сатарова – в 1990-е годы политического советника президента Ельцина – посвящена тем лакунам социальных знаний, которые обнаруживались по мере того, как предположения и ожидания по поводу динамики и траекторий транзита стали все больше расходиться с реальностью. В основе этих ожиданий лежали убеждения «высокого модернизма», т. е. чрезмерная и ничем не подтвержденная вера в управляемость социальных процессов. В основе проектной деятельности реформаторов при осуществлении транзита лежал классический легизм – представление, что правильные законы формируют правильные практики, и понимание институтов как результата действия писанных норм. Именно проблемы транзита на втором этапе его осмысления стали стимулом для широкой дискуссии о формальных институтах, об их способности менять реальные практики, о подрывном действии неформальных практик, меняющих реальное содержание и функционал писанных правил. Альтернативный «высокому модернизму» подход базируется на принципе, сформулированном чилийскими биологами Умберто Матурана и Франсиско Варела: «Внешние воздействия на живую систему неинструктивны». Иными словами, очень сложные системы «реагируют на внешние воздействия в соответствии со своим внутренним устройством», пишет Георгий Сатаров.

Впрочем, доминирующее сегодня разочарование в имитационных стратегиях не стоит абсолютизировать. Отметим справедливости ради, что, хотя во многих случаях попытки трансплантации, адаптации и имитации приводили к результатам далеким от желаемых, заимствования и копирования играют огромную роль в современном социальном развитии и многие страны добивались значительных успехов, используя эти стратегии. С другой стороны, там, где имитация не удавалась или отвергалась, фактические институциональные решения выглядят, как правило, довольно далекими от оптимальных. Так или иначе, неудачи транзита и «транзитологии» стали своего рода трамплином в развитии социального знания, и прежде всего в обсуждениях проблем взаимодействия формальных институтов и неформальных практик, а также границ и возможностей социального конструирования.

Андрей Мельвиль, продолжая методологический *sturm und drang* «опыта непониманий» и ложных теоретических ожиданий, выделил пять неоправдавшихся предположений социальной мысли начала 1990-х годов. Во-первых, «демократизация без предпосылок» – представление, что структурные ограничения не так важны, как выбор акторами правильных стратегий, и что демократизация возможна в силу только того факта, что старые структуры насилия рухнули под влиянием тех или иных обстоятельств, создав условия для «плюрализма по умолчанию». Сегодня, по итогам тридцати лет, мы видим сложную картину, где просматриваются как успехи «стратегий акторов», так и «реванш структур» (в частности, в примерах «авторитарного отката»). Вторым теоретическим уроком стала проблематизация основной гипотезы модернизации – представление о росте спроса на демократию по мере формирования ее экономических предпосылок. Феномен экономического роста и роста благосостояния, не порожд-

дающий спроса на демократию, еще требует своего осмысления, равно как и реинтерпретации тех условий и порогов, при которых рост благосостояния все же этот спрос формирует.

Еще одно ожидание связано с верой в значимость «правильного институционального дизайна» как ключа к успеху. Продолжая линию рассуждений, намеченную Георгием Сатаровым, Андрей Мельвиль отмечает два вывода, вытекающих из анализа посткоммунистического опыта. С одной стороны, попытки трансплантировать «лучшие образцы» могут оборачиваться созданием «субститутов» вместо институтов, с другой – вполне эффективным может оказаться использование паллиативных, транзитных институтов, не соответствующих лучшим образцам, но работающих (эта логика прямо противоположна логике «перескакивания» и заимствования «лучших образцов», речь о которой шла выше). Действительно, два эти открытия, взаимно дополняя друг друга, продвигают нас дальше в том, что можно назвать «теорией заимствования». С одной стороны, попытка копирования «образцов» наталкивается на сопротивление сопутствующих ограничителей (проблема комплементарности институтов) и в результате может вести к дисфункции института. В то же время противоположная стратегия, учитывающая сопутствующие ограничители, позволяет адаптировать функционал института к фактическим условиям и их ограничениям. Практика паллиативных институтов (*second-best institutions*) в последние 15 лет широко обсуждалась применительно к проблемам экономической политики в странах с переходными или развивающимися экономиками (см. работы Дени Родрика⁴), но гораздо реже – в применении к проблемам политического развития.

Четвертая проблема – это проблема одновременности реформ и состоятельности государства, подчеркивает Андрей Мельвиль. В целом наличие эффективного государства должно предшествовать успешным либеральным реформам: либерализация требует эффективного правопорядка, в противном случае открытые ею возможности будут «приватизированы» узкими группами интересов. Однако борьба за состоятельность государства оборачивается подчас формированием таких институтов, которые не способствуют, а эффективно препятствуют реформам. Они либо оказываются слишком ригидны и репрессивны, либо формируют описанную Джоэлом Хеллманом ловушку «ранних победителей», не заинтересованных в продолжении реформ⁵.

И наконец, пятое ложное ожидание имело мощный эмоциональный фундамент: это характерное для «эпохи 1989 года» предположение, что авторитаризм остался в прошлом, пишет Андрей Мельвиль. Теории предполагали возможность реверса, но лишь в качестве временных эксцессов; реальность же первых десятилетий XXI века выглядит обескураживающей. Авторитаризмы не только не остались в прошлом и на обочине цивилизации, но, наоборот, продемонстрировали способность к адаптации и разнообразию мутаций и подтверждают свою социальную востребованность. Место модной в конце XX века «сравнительной демократизации» (*comparative democratization*) в последние 10–15 лет все более уверенно занимает сравнительное изучение авторитаризмов (*comparative authoritarianism*), которые демонстрируют пока способность справиться с успехами модернизации и глобализации, с вызовами информационной эпохи и бумом социальных сетей.

Вполне продемонстрированный в первых трех разделах книги и доминирующий сегодня среди интеллектуалов, политиков и исследователей «трансформационный пессимизм» сам стал предметом рефлексии в тексте Владимира Гельмана. Этот «пессимистический консенсус» относительно итогов транзита заставляет исследователей в поисках его объяснений фокусироваться на структурных факторах, которые выглядят долгосрочными и устойчивыми. В результате надежды на смену тенденций отодвигаются в неопределенное будущее и связываются со

⁴ *Rodrik D. Second-best institutions // American economic review. 2008. № 2.*

⁵ *Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions // World Politics. 1998. Vol. 50. № 2. P. 203–234.*

сменой поколений, последствиями дальнейшего экономического роста. Однако весьма похожий взгляд на вещи, отмечает профессор Гельман, господствовал в рассуждениях политологов и социологов 1970-х годов: они точно так же сосредотачивались на структурных факторах и относили возможные изменения в социалистическом блоке в неопределенное и отдаленное будущее, не видя никаких предпосылок к ним в настоящем. Иными словами, когда ученые обсуждают сложившийся статус-кво, им свойственно апеллировать к структурным факторам, но когда реальные изменения начинаются и оказываются, как всегда, неожиданными и непредвиденными, аналитики вынуждены сосредоточиться на акторах – агентах изменений, которых они рассматривают в качестве триггеров тех изменений, которые не были предсказаны на основе анализа структурных факторов. Именно такие стратегии, фокусирующиеся на роли акторов, господствовали в описаниях событий 1980–1990-х годов в эпоху транзитологического оптимизма. Однако, предполагает Владимир Гельман, ограничения для демократизации на постсоветском пространстве, которые сегодня выглядят структурно обусловленными и фундаментальными, могут в большей степени оказаться следствием влияния акторов, чем это считается в рамках «пессимистического консенсуса». Именно акторам принадлежит в том числе существенная роль в конструировании того «образа прошлого», который заставляет нас приписывать больший вес одним структурным факторам в ущерб другим. Задача сегодня – вернуть действия политических игроков в центр нашего анализа, резюмирует Владимир Гельман.

Дэниэл Трейсман в заключительном разделе первой части атакует «пессимистический консенсус» с сугубо позитивистских позиций. В двух знаменитых статьях, написанных им совместно с Андреем Шляйфером (2004, 2014), авторы настаивают – вопреки скептикам и критикам – на относительной «нормальности» посткоммунистических траекторий России и других бывших стран социализма⁶. И в настоящей книге Дэниэл Трейсман не отступает от этой линии. Задача, стоявшая перед коммунистическими странами, заключалась в том, чтобы преодолеть макроэкономический кризис, поразивший социалистические экономики, провести структурную перестройку, встроиться в глобальные рынки и «догнать» Запад по уровню развития и жизни. Решение и первой, и второй задачи заняло больше времени, чем предполагалось, но они тем не менее были решены. По уровню инфляции, уровню безработицы после трансформационного всплеска 1990-х мы наблюдаем конвергенцию показателей посткоммунистических и развитых стран, происходит постепенная конвергенция и в структуре экономик. Так или иначе была решена задача интеграции в мировые рынки, и в 2000-х годах посткоммунистические страны пережили период бурного роста и значительной модернизации экономик.

Задача, которая не была решена, – это задача «догнать Запад». Однако Россия и Восточная Европа отставали от Запада и в докоммунистическом периоде. Чтобы преодолеть это историческое отставание, их экономикам необходимо было вырасти на 150–200% за десять лет. Однако такие темпы роста наблюдаются только у бедных стран; посткоммунистические страны росли темпами даже несколько превышающими обычные для стран со средним доходом, но недостаточными для преодоления разрыва, сформировавшегося еще в конце XIX века. Таким образом, корни сегодняшних разочарований итогами транзита следует искать преимущественно в завышенных и нереалистичных ожиданиях конца 1980-х – начала 1990-х.

Последнее замечание профессора Трейсмана, впрочем, по-новому ставит проблему итогов транзита. Действительно, если ориентироваться на оценки и расчеты Проекта Ангуса Мэдиссона, в начале XX века ВВП на душу населения в России составлял 38% от среднедушевого уровня 12 наиболее развитых стран Европы, в Польше соответственно 48%, а в целом по 7 странам Восточной Европы (Албания, Болгария, Румыния, Югославия, Чехословакия, Венгрия, Польша) – 27%. В период наивысшего расцвета социализма (с 1950 по 1972 год)

⁶ Шлейфер А., Трейсман Д. Нормальная страна // Россия в глобальной политике. 2004. № 2; Shleifer A., Treisman D. Normal countries: the east 25 years after communism // Foreign Affairs. 2014. Т. 93. P. 92.

это соотношение составило для СССР 53%, для Польши – 44% и для 7 стран Восточной Европы – 32%; во второй половине 2000-х годов ВВП на душу населения в России составлял 39% от уровня Е-12, в Польше – 46% и в 7 странах Восточной Европы – 30%⁷. Из этих цифр видно, что Восточная Европа и Россия оказались примерно в такой же дистанции по отношению к развитым странам, в которой находились за сто лет до этого. При этом в апогее социализма Восточная Европа находилась примерно на том же уровне развития по отношению к передовой Европе, а Советский Союз сократил свое отставание. Получается, что ни социалистический эксперимент, ни возвращение к рыночной экономике не влияли кардинальным образом на темпы развития «второй Европы». Во всяком случае, провал задачи «догнать Запад» выглядит вполне удовлетворительным объяснением массового разочарования посткоммунистических стран – ведь именно перспектива конвергенции по уровню доходов была одним из основных факторов массовой антикоммунистической мобилизации в конце 1980-х годов.

Это обстоятельство, в свою очередь, обращает нас и к другому аспекту, оставленному профессором Трейсманом в стороне, – к вопросу о динамике политических режимов посткоммунистических стран. Если первые 10–15 лет транзита поставили под сомнение стратегию трансплантации и гипотезу «преимуществ догоняющего развития», выявив ограниченную «инструктивность» институционального дизайна в условиях социальной трансформации, то следующие 15 лет проблематизировали еще одно фундаментальное предположение начала 1990-х – о взаимосвязи устойчивого экономического роста и «правильных», т. е. либеральных, институтов в экономической и политической сфере. Разрыв этой взаимосвязи, казавшейся тридцать лет назад очевидной и непреложной, и стал причиной новой конкуренции социальных проектов. Если либеральные институты не позволяют сократить разрыв в уровне экономического развития, а нелиберальные позволяют его сохранять, не увеличивая, то позиции сторонников нелиберального сценария политического и социального развития существенно укрепляются, что мы и видим в третьем десятилетии посткоммунистической истории.

ДРАМА ТИПОЛОГИЙ

Каждое посткоммунистическое десятилетие приносит нам новые и часто непредвиденные знания о характере и динамике длительных траекторий посткоммунистических обществ и, соответственно, вынуждает переосмысливать типологию транзитов в контексте этого нового знания. Если на предыдущем этапе исследователи имели дело с классификацией транзитов, которые выглядели как переход от тоталитарных коммунистических режимов к новым политическим равновесиям (авторитаризм, демократия или промежуточные режимы), то теперь объяснительные модели вынуждены охватывать не только этот переход, но и последующую динамику режимов, сложившихся по итогам первого и второго посткоммунистических десятилетий. Так, например, Киргизия в начале 2000-х годов выглядела центральноазиатской деспотией, похожей на соседние страны, но в последние 15 лет демонстрирует совершенно иную динамику, а Россия, выглядевшая к началу 2000-х довольно конкурентным некоммунистическим режимом, эволюционировала в сторону центральноазиатских авторитарных гегемоний.

Попытка синтезировать в общей таксономической модели типы транзитов и траектории последующих изменений находится в центре фундаментальной концепции Балинта Мадьяра и Балинта Мадловича, резюме которой представлено ее авторами в настоящем томе⁸. Концентрация внимания на политических институтах ведет к упрощенным типологиям, которые не описывают всего спектра посткоммунистических траекторий, считают авторы. Помимо тра-

⁷ См.: Maddison Historical Statistics. Maddison Database 2010; <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases>.

⁸ См.: *Magyar B. Stubborn Structures: Reconceptualizing Post-Communist Regimes*. Central European University Press, 2019.

диционной оси «демократия – авторитаризм», они вводят еще одну, «вэберианскую», ось, концептуализирующую типы устойчивых социальных структур (*stubborn structures*), которые характеризуют социальный уклад различных конфессионально-исторических ареалов Евразии и различаются по уровню патрональности, т. е. по степени влияния в обществе неформальных иерархических сетей патронажа. Это позволяет выстроить более сложную типологию, где диктаторские режимы будут представлены двумя типами: институциональные (бюрократические) диктатуры, как Китай, и патрональные, распространенные, к примеру, в Центральной Азии, – а наряду с либеральными демократиями будут идентифицированы патрональные демократии (Украина и Румыния). Кроме того, авторы различают режимы, в которых патрональные иерархии охватывают исключительно политическую сферу или и политическую, и экономическую.

Эта типология позволяет увидеть общее и различное посткоммунистических режимов Евразии в разрезе этих проекций и проследить их нелинейные траектории на протяжении трех десятилетий. Так, например, Эстония, Польша и Венгрия осуществили успешный переход от коммунистической диктатуры к либеральной демократии на первом этапе. Однако в отличие от Эстонии Польша совершила затем движение в обратном направлении – к консервативной автократии, а Венгрия – в направлении патрональной демократии, а затем – и патрональной автократии, считают авторы. Другая траектория транзита и посттранзита характерна для таких стран, как Румыния, Македония, Украина, которые никогда не были либеральными демократиями: совершив переход сразу к патрональной демократии, они оказались в контуре циклической динамики, которую определяют стремление тех или иных групп закрепить свое господство и сопротивление этим попыткам. Однако «цветные революции», периодически случающиеся здесь, не разрушают самого принципа патрональности, характеризующего устойчивые социальные структуры. Россия после периода «олигархической анархии» трансформировалась в патрональную автократию. А в таких странах, как Узбекистан, коммунистическая диктатура трансформировалась непосредственно в патрональную автократию.

Раздел Балинта Мадьяра и Балинта Мадловича примыкает к важному и бурно развивающемуся направлению современных исследований, которые рассматривают динамику переходных и промежуточных режимов сквозь призму взаимодействия заимствованных институтов рынка и электоральной демократии и укорененных неформальных моделей социальной организации. К этому направлению принадлежит значительный пласт исследований политической роли неопатримониализма в африканских и постсоветских странах, а также концепция «патрональной политики» на постсоветском пространстве Генри Хейла, одного из авторов настоящего сборника⁹.

Тему устойчивых структур, позволяющих понять генезис постсоветских политик и их динамику на протяжении 30 лет, продолжает и наша статья в настоящей книге. Наш базовый аргумент состоит в том, что фактическая либерализация советского режима, происходившая в конце 1980-х годов, вела (вопреки ожиданиям) к совершенно разным последствиям в разных частях Советского Союза, уровень социально-экономического развития и характер социальных укладов которых серьезно отличались друг от друга, и запускала различные комбинации политических и социальных процессов. Либерализация открыла дорогу трем социальным процессам: массовой демократической мобилизации (прозападной по идеологии), массовой националистической мобилизации и элитному сецессионизму (стремлению региональных элит к политической самостоятельности и контролю над местными ресурсами). Различные констел-

⁹ См., например: *Pitcher A., Moran M. H., Johnston M. Rethinking patrimonialism and neopatrimonialism in Africa // African Studies Review. 2009. Vol. 52. № 1. P. 125–156; Фусун А. А. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация // Политическая концептология. 2010. № 4. P. 158–187; Laruelle M. Discussing neopatrimonialism and patrimonial presidentialism in the Central Asian context // Demokratizatsiya. 2012. № 20 (4). P. 301; Hale H. E. Patronal politics: Eurasian regime dynamics in comparative perspective. Cambridge University Press, 2014.*

ляции веса и значимости трех этих факторов формировали различные траектории перехода к посткоммунизму и определяли лицо конкретной формирующейся политики.

Выборы в Верховные Советы союзных республик, прошедшие в 1990 году еще в рамках СССР, сыграли роль учредительных для постсоветских политий, а их результаты в большинстве случаев довольно точно предсказывали дальнейшие политические траектории постсоветских стран. Там, где оппозиция уверенно выиграла выборы (Прибалтика), происходил успешный переход к либеральной модели, в тех республиках, где оппозиция не сумела оказать значимого влияния на исход выборов, либо старые элиты сохраняли доминирование и авторитарные структуры управления, либо эти структуры быстро восстанавливались после трансформационного кризиса. И наконец, те республики, где оппозиция сумела оказать существенное влияние на исход выборов, но не имела устойчивого большинства, составляют и сегодня пул полудемократий – «конкуренстных олигархий» (Армения, Грузия, Молдова, Украина).

Этот взгляд позволяет, с одной стороны, видеть долгосрочные ограничения и устойчивость тех базовых балансов сил, которые формируют конкретную политику, а с другой стороны – обращают наше внимание на условия изменений. Формирующий характер выборов 1990 года связан с тем, что они продемонстрировали значимость и место электоральных процессов в рамках той или иной политики: там, где оппозиции удалось провести политическую мобилизацию и конвертировать ее в голоса избирателей, институт выборов утверждался как ключевой фактор политической динамики; там, где это не удавалось, выборы превращались в инструмент авторитарной легитимации. Впрочем, борьба вокруг этого вопроса возобновилась уже в начале 2000-х годов и проявила себя в попытках все более широких манипуляций выборными процедурами, с одной стороны, и новых протестных мобилизациях против таких манипуляций – с другой. Там, где протесты были успешны и выливались в так называемые «цветные революции», сохранялся (Грузия 2003, Украина 2004, Молдова 2009, Армения 2018) или устанавливался (Киргизия 2005) конкурентный режим; там, где они терпели поражение (Азербайджан 2003 и 2005, Армения 2008, Белоруссия 2006 и 2010, Россия 2012), мы наблюдаем консолидацию авторитаризма и деградацию электоральных процедур.

Линию интеллектуальной критики прошлых представлений о транзите продолжает раздел Андрея Рябова, в которой выделены несколько факторов, сыгравших, по мнению автора, важную роль в траекториях стран Восточной Европы и бывшего СССР. Во-первых, это характер делегитимации коммунистического режима. В странах Центральной Европы и Балтии коммунистический режим воспринимался как привнесенный и сохранялась память об опыте сопротивления ему (восстания 1953, 1956 годов в ГДР и Венгрии, 1968 году – в Чехословакии, опыт «Солидарности» в Польше). На этом фундаменте и формировалась альтернативная, национально-демократическая система ценностей. В СССР легитимность режима базировалась на вполне укорененном представлении о его эффективности. Политика гласности и кризис 1980-х подорвали это основание, выдвинув тезис о большей эффективности либерально-демократической модели, который и стал инструментом делегитимации режима. Однако в результате демократические и либеральные установки приобретали здесь не ценностный, а инструментальный характер. И когда в процессе трансформации связанные с ним издержки привели к девальвации этих представлений, авторитарные модели вновь стали осознаваться как вполне приемлемые, если связанный с ними социально-экономический порядок позволял в какой-то степени решать проблемы «общего блага» и роста уровня жизни. Это и стало основанием ценностного «патерналистского ренессанса».

Второй фактор, по мнению Андрея Рябова, связан с характером приватизации. На постсоветском пространстве были реализованы две противоположные стратегии. Первая – ускоренная приватизация крупных активов, цели которой были не столько экономическими, сколько политическими: создание класса собственников, способных не допустить реставрацию. Вторая, наоборот, была направлена на сохранение этатистского характера постсоветских экономик

и подразумевала сохранение национальных активов в государственной собственности. Однако в политэкономическом смысле обе они привели к одному и тому же результату: формированию института «власти-собственности», который начинает форматировать политический процесс и адаптирует правила экономического обмена к целям перераспределения ренты. Борьба за ренту ведет к тому, что политические процессы обретают циклический характер, т. е. превращаются в борьбу не между различными проектами будущего, а между разными группами за управление рентами, и ведут в итоге к «дефициту развития».

Новые типологии транзитов и посткоммунистических траекторий, основанные на достаточно продолжительном периоде наблюдений, фокусируются, как было пронизательно отмечено Владимиром Гельманом, преимущественно на долгосрочных структурных факторах и, более того, стремясь преодолеть легизм и формализм прежних подходов, обращаются к анализу устойчивых неформальных моделей социальных взаимодействий, деформирующих и адаптирующих формальные институты. Кроме того, в отличие от типологий предыдущего поколения, нацеленных на объяснение «успешных» и «неуспешных» кейсов транзита, новые типологии стремятся объяснить по меньшей мере неоднозначную или даже противоречивую политическую динамику стран на протяжении всего посткоммунистического периода.

HOMO SOVETICUS – HOMO POST-SOVETICUS

Еще одна принципиальная проблема, которую принесло с собой третье десятилетие посткоммунизма, связана с переосмыслением самого фактора «зависимости от прошлого» (path dependence). Объяснять те или иные проблемы и эффекты посткоммунистического общества ссылками на коммунистическое прошлое – на влияние социальных структур, ценностных стереотипов, институциональных практик, которые утверждались и воспитывались коммунистической системой, – казалось совершенно естественным в первом и даже во втором десятилетиях транзита. Сегодня же все острее встает вопрос: насколько длинны «тени коммунизма» и как долго можно к ним адресоваться, если практически все нынешнее население рабочих возрастов посткоммунистических стран либо вовсе не имело опыта социализации при коммунистическом режиме, либо застало этот режим лишь слегка и в периоде полураспада?

Поэтому, несмотря на неугасающий интерес к проблеме «зависимости от прошлого», сама она все более становится объектом проблематизации и деконструкции, а альтернативные гипотезы, связывающие проблемы посткоммунистических обществ не с опытом коммунизма, а с «травмами» самого транзита, неадекватными ожиданиями (как в разделах Ивана Крастева и Дэниэла Трейсмана в настоящей книге) или даже со структурными факторами, уходящими в досоветское прошлое (как в разделе Мадьяра и Мадловича в этой книге или в работе Ланкиной, Либмана и Обыденковой, посвященной тому, как уровень образования территорий царской России способствовал утверждению большевистского режима¹⁰), становятся все более популярны.

Концепция Юрия Левады и его соратников, впервые сформулированная в книге «Советский простой человек»¹¹, – одна из первых попыток описать и теоретизировать «наследие коммунизма» в социологических терминах. Несколько волн исследований, предпринятых группой Юрия Левады на протяжении трех десятилетий, продлили жизнь «простого советского человека»: исследование обнаружило, что поведенческие модели и ценностные структуры «простого советского человека» не распадаются под влиянием новой институциональной среды

¹⁰ *Lankina T. V., Libman A., Obydenkova A.* Appropriation and subversion: precommunist literacy, communist party saturation, and postcommunist democratic outcomes // *World politics*. 2016. Vol. 68. № 2. P. 229–274.

¹¹ *Голов А. А., Гражданкин А. И., Гудков Л. Д., Дубин Б. В., Зоркая Н. А., Левада Ю. А. (руководитель), Левинсон А. Г., Седов Л. А.* Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х годов. М., 1993.

или распадаются и меняются гораздо медленнее, чем это ожидалось; наиболее же радикальный вывод состоит в том, что именно «живучесть» и адаптивность авторитарных институтов способствует их регенерации в России. Эта точка зрения на проблему «советского наследия» и представлена в разделе директора «Левада-Центра» Льва Гудкова в настоящей книге и отражена в самом ее заглавии: «„Советский человек“ сквозь все режимы: тридцать лет исследовательского проекта».

По мысли Льва Гудкова, сохранившиеся после крушения советской системы рудиментарные тоталитарные институты (политическая полиция, суд, система образования), встроенные в постсоветский институциональный дизайн, способствовали воспроизводству тех «слоев коллективной памяти», которые не исчезли, но находились в спящем состоянии и в результате – воспроизводили «советского человека». Главные свойства данного собирательного типа определяются тем, что это человек закрытого, мобилизационного общества с его принудительными идентичностями, приспособившийся или приспособливающийся к уравнильным иерархиям; человек, которому к тому же свойственен – в его постсоветской реинкарнации – имперский компенсаторный национализм, заместивший мессианскую коммунистическую идеологию. При этом многочисленные признаки и проявления социальной модернизации в России последних десятилетий носят, по мнению Гудкова, преимущественно поверхностный, «потребительский» характер, не затрагивая ценностной системы и фундаментальных поведенческих стереотипов, а «установки молодых и более образованных горожан на изменения были характеристикой не процесса, а определенной фазы социализации», т. е. являются не поколенческим, а возрастным феноменом. Формирование современного российского авторитаризма, пишет Гудков, «стало возможным не столько из-за потенциала регенерации тоталитарных институтов, сколько в отсутствие сопротивления этим усилиям со стороны общества, политическая культура которого пронизана массовым нежеланием участвовать в общественных делах, отказом от ответственности, недоверием».

Эта точка зрения, как и в целом концепция «человека советского» и его судьбы в посткоммунистическом тридцатилетии, стали в последнее время предметом широкой полемики, грани которой представлены в третьей части настоящей книги¹². Сэмюэл Грин в своем разделе обсуждает концепцию и судьбу «советского человека» в контексте широкого круга социологических исследований посткоммунистических обществ и привнесенных ими новых знаний о «постсоветском человеке». В русле тех тенденций, о которых говорилось выше, он предлагает рассматривать лояльность «постсоветского человека» постсоветскому авторитаризму, не ограничиваясь анализом собственно его политических предпочтений и паттернов политического поведения (сферой политического), но обращаясь ко всей совокупности его социальных навыков и взаимодействий. И в результате приходит к выводу, что ключевой концепт левадovской теории – характеризующая советского человека склонность к «пассивной адаптации» – далеко не полно их описывает. Напротив, основные стратегии социальной активности постсоветского человека сконцентрированы на «ближнем круге» – той среде ежедневных взаимодействий, в которой он находит поддержку и способы достижения личных целей. Именно с этим уровнем взаимодействий («на расстоянии вытянутой руки») связываются представления о социальном и индивидуальном успехе, в то время как сфера политического, широких горизонтальных взаимодействий остается для «постсоветского человека» малозначимой, слабо связанной с его жизнью и интересами и в результате становится сферой «символической политики», не требующей значительной вовлеченности и наполненной преимущественно абстрактными, символическими концептами. Глядя на сферу политического как на периферийную, постсоветский человек в то же время стремится использовать ее инструментально как определенный ресурс

¹² В рамках проведенной в декабре 2019 года в «Горбачев-центре» конференции «Тридцать лет постсоветской Европы» этой полемике был посвящен специальный круглый стол, в котором приняли участие и многие авторы настоящего издания.

в выстраивании социальных стратегий «ближнего круга», поэтому присоединение к символическому политическому большинству, будь то пропутинское или прокрымское большинство, выступает в качестве своего рода социальной «смазки» – дополнительного механизма социализации и «рамки доверия». Иными словами, «постсоветский человек» отнюдь не пассивен в своей частной сфере, но избегает выхода из привычного ему круга социальных взаимодействий, не приветствует институциональные изменения, которые бы привели к ее деформации и перестройке, и выстраивает свое отношение к сфере «общественной» скорее с утилитарных, чем с ценностных позиций.

В своей интерпретации «советского наследия» Евгений Гонтмахер обращается к концепту поколений. В сущности, его рассуждения лежат в русле фундаментального вывода книги Дж. Такера и Гр. Поп-Элечес «Тень коммунизма», где на широком социологическом материале убедительно показана зависимость масштабов этого наследия от длительности жизни при коммунизме тех или иных поколений¹³. В то время как первое поколение посткоммунистических лидеров рекрутировалось либо из рядов номенклатуры, либо из когорты борцов с коммунизмом – и это во многом определяло подходы этих лидеров к посткоммунистической действительности и приверженность тем или иным институциональным образцам, – второе поколение нередко формировалось из тех, кто, с одной стороны, не участвовал в антикоммунистическом движении и борьбе с коммунизмом на рубеже 1980–1990-х, а с другой, имел опыт социализации при старом режиме. Это поколение комфортно себя чувствовало с коррупцией и гибридными институтами посткоммунистической эпохи и сохраняло «ностальгический» пласт ценностных представлений, связанных с прежним режимом. К нему относятся и недавно ушедшие лидеры, такие как Виктор Янукович и Петр Порошенко в Украине, Серж Саргсян в Армении, и остающиеся у власти – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Лишь в последние годы начался переход власти к следующему поколению политиков, не имевшему опыта социализации при коммунистическом режиме, таких как Никол Пашинян или Владимир Зеленский, который скоррелирован с ростом доли постсоветских поколений в электорате, резюмирует Евгений Гонтмахер.

Действительно, сегодня в России при анализе политических предпочтений и поведенческих стереотипов проблема поколений выходит на первый план в данных социологических опросов: распределение предпочтений в младших когортах (до 35–40 лет) и старших (старше 55 лет) выглядит как перевертыш, и эта картина оказывается достаточно устойчивой¹⁴. Значительную роль в этом, безусловно, играет различие в структуре «информационного потребления», однако, во-первых, сам по себе «телевизионный навык» и синдром доверия телевизору являются своего рода рудиментом социализации в предыдущей эпохе, а во-вторых, консерватизм старших поколений может быть равно атрибутирован также травматическому опыту транзита, повышающему в глазах его носителей ценность «сохранения статус-кво». Пережив в своей жизни мощную волну социальных и институциональных новаций, эти поколения не хотят изменений и привержены телевизору, поддерживающему и культивирующему этот комплекс «усталости». Стоит при этом иметь в виду, что население России является достаточно «старым» и люди в возрасте от 18 до 40 лет, не имевшие опыта социализации при коммунизме, составляют в 2020 году 38% взрослого населения, в то время как люди старше 55 лет, имевшие такой опыт и пережившие травму транзита, – 37%.

¹³ Pop-Eleches G., Tucker J. A. Communism's shadow: Historical legacies and contemporary political attitudes. Princeton University Press, 2017.

¹⁴ См., например: Рогов К. Информационный разрыв: отношение к протестам как долгосрочный вызов // Встречная мобилизация. Московские протесты и региональные выборы 2019 г. Серия «Либеральная миссия – Экспертиза». Вып. 7. М., 2019; Юдин Гр. Вопрос опросов: общественное мнение в условиях политического раскола // Новая (не)легитимность. Как проходило и что принесло России переписывание Конституции. Серия «Либеральная миссия – Экспертиза». Вып. 10. М., 2020.

Концепция «советского человека» и новые волны исследований этого феномена группой Юрия Левады в 1990-х и 2000-х годах базировались на данных российских опросов и категориальном аппарате формирующейся российской социологии. Владимир Магун и Максим Руднев в своей статье в настоящем сборнике тестируют ее на материале международного сравнительного исследования, использующего для замера динамики ценностных ориентаций общеевропейскую ценностную типологию¹⁵. Заметны ли в этой концептуальной и методологической рамке следы «советского человека» как особого социального типа? Семь волн европейских опросов 2006–2018 годов демонстрируют отличие постсоветских и посткоммунистических стран от прочей и в особенности Северной Европы на «карте» ценностных ориентаций. Ценностные ориентации в этих странах оказались сильно сдвинуты на оси «безопасность – открытость к изменениям» к полюсу «безопасности» и в сторону индивидуалистических установок на оси «индивидуализм – альтруизм». Этот групповой сдвиг и следует, видимо, считать отражением социального наследия коммунистических режимов: социальность здесь строится вокруг страха и стремления избежать опасности, и именно на этой основе возникают расчет на защиту государства, конформизм и иерархичность – патерналистские установки, вполне созвучные тому социальному типу, который описывала группа Юрия Левады.

Однако за последние полтора десятилетия, отмечают авторы раздела, ценностные ориентации россиян демонстрируют значительный сдвиг в направлении «полюса» открытости («активного индивидуализма»; тот же вектор наблюдается в Украине и ряде посткоммунистических стран); в то время как большинство стран «старой Европы» переживали сдвиг в направлении «полюса» альтруизма, который в этих странах остается невыраженным. Таким образом, с одной стороны, данные подтверждают наличие некоего общего типа ценностных ориентаций посткоммунистических стран, а значит – и гипотезу «человека советского», а с другой – демонстрируют отчетливую динамику снижения ценности «безопасности», а с ней и набора признаков «авторитарного рефлекса», и нарастание склонности к изменениям («активный индивидуализм») и гедонизму.

Вопреки картине, представленной Львом Гудковым, эти эмпирические данные демонстрируют существенные изменения, которые происходят с «человеком советским», и не подтверждают гипотезу его «возрождения» и консервации «сквозь все режимы», равно как и гипотезы о специфичности российской социально-ценностной модели. В рамках данной модели и на материале ее эмпирического кластера посткоммунистические страны демонстрируют, с одной стороны, значительные отличия от западноевропейского и в особенности северо-европейского типажа, а с другой – в целом общий и достаточно стандартный вектор изменений, вполне согласующийся с теоретическими ожиданиями и уровнем их социально-экономического развития.

Таким образом, три раздела, следующие за разделом Льва Гудкова, усложняют общую картину эффектов «советского наследия». В целом, признавая если не преемственность, то отчетливую связь современных социальных реалий с «советским человеком», они указывают на существенные отличия человека постсоветского, в социальном портрете которого наряду с бэкграундом коммунистической социализации ясно различим и противоречивый опыт транзита, и явные признаки социальной модернизации. На первый взгляд выводы Владимира Магуна и Владимира Руднева в основной части противоречат концепции Льва Гудкова, однако если присмотреться, дело обстоит сложнее. Лев Гудков не отрицает комплекса «модерных» социальных практик и отношений постсоветского человека, но считает их «внешними», в то время как «советскому» комплексу приписывает статус «устойчивого ядра». Магун и Руднев, рассматривая проблему в более строгой и формализованной эмпирической рамке, приходят

¹⁵ *Schwartz S. H. Value orientations: Measurement, antecedents and consequences across nations // Measuring attitudes cross-nationally – lessons from the European Social Survey / R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald, G. Eva (eds). London: Sage, 2006.*

к выводу, что снижение веса ценностей «безопасности» и рост «гедонизма» и индивидуализма свидетельствуют о значительном ослаблении патерналистской модели, но в то же время фиксируют крайне слабую выраженность «ценностей роста», которые как раз и ассоциируются с поддержкой либеральной демократии. Именно их слабая выраженность подводит Льва Гудкова к мысли об устойчивости «советского комплекса», в то время как авторы второй статьи описывают это как некоторое промежуточное и динамическое состояние. Открытым, однако, остается вопрос, является ли эта промежуточность транзитным состоянием или устойчивым гибридным равновесием.

СТРУКТУРЫ, АКТОРЫ И НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Если на первых этапах осмысления и исследования посткоммунистических трансформаций в них видели движение к заданной точке и фокусировались на логиках тех или иных агентов транзита, то новая модель, рассматривающая эти трансформации как процесс, имеющий спектр возможных исходов, связанных с влиянием устойчивых структурных ограничений, заставляет по-новому взглянуть на роль акторов и лидеров. В этой перспективе те или иные события и изменения (например, замедление советской экономики в конце 1970-х – начале 1980-х) заставляют акторов действовать, однако последствия их действий, в контексте имеющихся структурных ограничений, оказываются не совсем теми или совсем не теми, которые предполагались и ожидались. Эти последствия, в свою очередь, формируют новые вызовы, попытка ответить на которые приводит к новым непреднамеренным последствиям или даже ожидаемым результатам, которым, однако, сопутствуют совершенно непредвиденные эффекты и новации. Этой логике следует и наша статья в настоящей книге, и анализ динамики перестройки, предпринятый Дмитрием Травиным в ее четвертой части.

Члены политбюро, стоявшие у истоков перестройки и повлиявшие на ее ход, имели общее представление о необходимости исправления недостатков прежнего правления и коррекции курса, но довольно различные представления о том, как это надлежит делать, констатирует Дмитрий Травин; и нет оснований считать, что иной была ситуация в позднесоветском обществе в целом. Более того, предпринимаемые ими шаги (на первых этапах вполне консенсусные) вели не совсем к тем результатам, которые ожидались в силу как встроенных ограничений, так и внешних воздействий (например, падение цен на нефть) или непросчитанных последствий (сокращение доходов бюджета в результате антиалкогольной кампании). В этой логике Травин прослеживает историю перестройки от идеи стимулирования экономики к идее «перенастройки» административного аппарата, а затем – к идее «рыночного социализма» и, наконец, – к идее широкой политической реформы. Восстановление этой последовательности само по себе важно, так как приверженцы популярной до сих пор точки зрения упрекают Горбачева в том, что, в отличие от китайского руководства, вместо того чтобы реформировать экономику, он «взялся за политику». Реальная эволюция была обратной: от идеи стимулирования экономики к идее комплексной политической реформы, когда стало ясно, что «стимулирование» не срабатывает в рамках заданных управленческих механизмов.

На самом деле каждый новый поворот эволюции перестройки был следствием ощущения недостаточности и неэффективности предпринятых ранее действий. Более того, по мнению Дмитрия Травина, замысел политической реформы был связан не только и не столько с абстрактной верой в «демократический социализм», сколько с конкретным страхом Горбачева перед возможным повторением сценария внутрипартийного переворота по образцу 1964 года на фоне ухудшения ситуации в экономике. «Политическая реформа представляла собой отнюдь не демократизацию, а переход от коллегиального механизма управления страной к персоналистскому», считает автор. Это в целом соответствовало популярному в тот момент представлению о сильном реформистском лидере-диктаторе, преодолевающем сопротивление

групп интересов ради проведения болезненных, но необходимых реформ¹⁶. Впрочем, на наш взгляд, здесь, возможно, имеет смысл говорить о двух стадиях: подобно тому как в экономической сфере происходил дрейф от идеи «нового нэпа» к идее «рыночных реформ», концепция «социалистической демократии» трансформировалась в доктрину «реформаторской диктатуры».

В известном смысле в той же логике, переносающей наше внимание с действий акторов на «ответ среды» и влияние встроенных ограничителей, написана и статья Генри Хейла. В то время как обычно поиск причин распада СССР строится вокруг обсуждения действий различных агентов (союзного руководства, республиканских и локальных элит, массовых мобилизаций граждан) и дестабилизирующих системных факторов (экономический кризис, административный паралич), Хейл обращается к следующему уровню структурной обусловленности – к проблеме, которая обычно остается в стороне при анализе причин распада СССР и траекторий посткоммунистического транзита. Наличие основного региона с доминирующим этносом определяло несбалансированный характер советского этнофедерализма. Федерации, где население основного региона существенно превосходит размеры прочих этнических групп, оказываются неустойчивыми во время кризисов и периодов турбулентности. Наличие такого региона формирует несколько вызовов: во-первых, создает условия для двоевластия – соперничества между федеральным центром и центром власти в основном регионе; во-вторых, создает угрозу для прочих этнических групп и понуждает их к консолидации (в особенности если они имеют свои республиканские правительства). Это не только объясняет распад некоторых федераций (например, советской и югославской), но и то, почему другие федерации не распадаются даже в условиях слабой центральной власти и серьезного кризиса. Так, например, выделившаяся из СССР Россия имела более сбалансированный этнофедеральный характер в силу того, что основной этнос здесь был распределен по большому числу субъектов. Это препятствовало формированию альтернативного центра власти, который мог бы соперничать с федеральным.

Описанный механизм кризиса федерации объясняет также возникновение и консолидацию в образующихся после распада странах президентских режимов. Эти режимы возникали в период борьбы с федеральным центром или торга с ним, отражая потребность в консолидации республиканской власти. Однако впоследствии в условиях слабой партийной системы и слабого гражданского общества становились инструментом монополизации власти. В ряде стран в результате утверждался сильный авторитаризм, в других – формировался политический цикл, в рамках которого попытки президентской ветви монополизировать власть наталкиваются на массовое сопротивление, проявляющее себя в форме «бархатных революций», но вскоре вновь возобновляются.

Так или иначе, несбалансированный этнофедерализм, по всей видимости, мог существовать лишь при определенном наборе политических институтов, ослабление которых резко повышало вероятность кризисов и конфликтов, структурная причина которых не осознавалась элитами. Надо отметить, что эта логика может быть применена и к конфликтам республиканского уровня: многие советские республики представляли собой более или менее оформленные субфедерации и существовали в условиях контролируемого латентного конфликта между титульной нацией и национальным меньшинством или даже меньшинствами. Этот конфликт в условиях централизованной системы власти регулировался гарантиями более высокого иерархического уровня властной пирамиды, что не только обеспечивало «холодный мир» в республике или автономии, но и облегчало для «центра» контроль над ней и элитами «титульной нации». Как заметил описавший эту политическую динамику на примере Кабардино-Балкарии Георгий Дерлугьян, переход к электоральным механизмам формирования власти с их

¹⁶ См. знаменитое интервью И. Клямкина и А. Миграняна «Нужна железная рука?» (Литературная газета. 16 августа 1989).

моделью «один человек – один голос» создавал для меньшинств таких административных территорий критическую угрозу исчезновения гарантий и приводил к их стремительной мобилизации¹⁷.

Этот круг проблем находится в центре раздела Николая Митрохина. Национализм, сыгравший едва ли не ключевую роль в процессе распада советской империи, латентно существовал в Советском Союзе, с одной стороны, как механизм культурно-исторической памяти о досоветском социальном опыте, а с другой – подогревался специфической структурой административно-территориального устройства. В условиях жесткой централизации и высокого насилия СССР позволял себе сохранять декоративные признаки протогосударственности союзных республик и в то же время – создал систему «титულных наций». Республики – как союзные, так и автономные – в своих названиях имели этнические идентификации, даже в том случае, если представители титульной нации составляли незначительное большинство или вовсе его не составляли. Между тем «титулная нация» получала преимущество в формировании местной элиты, что вело к возникновению реальной конкуренции за ресурсы между «титулной нацией» и другими этническими группами. Либерализация в эпоху перестройки резко расширила возможности националистической пропаганды, за несколько месяцев элитные националистические группы обретали массовую поддержку, невиданную прежде; эти процессы создавали угрозу для меньшинств, которые обращались за помощью к союзному центру, но уже не могли ее получить.

Это в значительной мере определяло не только логику транзита и возникающие в его процессе конфликты, но также и логику постсоветского национально-государственного строительства. Представлявшие преимущественно титульную нацию политические элиты были сфокусированы на консолидации национальной государственности, трансформации титульного национализма в государственный и, соответственно, – на ограничении политического влияния меньшинств, их маргинализации или выдавливании. Эта стратегия обеспечивала элитам поддержку представителей «титулной нации» и облегчала концентрацию властных рычагов в своих руках.

Конфликты, напряжения и стратегии урегулирования именно на этой оси (взаимоотношений титульных наций с меньшинствами), а вовсе не на оси «имперский центр – колонии», как предполагалось, оказались едва ли не главным сюжетом транзита, во многом определявшим внутривнутриполитические балансы, коалиции и стратегии. При этом представлявшие титульные нации элиты, решавшие проблему этнической неоднородности, фактически заимствовали многие «имперские» стратегии для ограничения меньшинств и фактически нигде (за исключением Российской Федерации) не предоставляли им тех инструментов административной и культурной автономии, которыми пользуются меньшинства во многих развитых странах и которыми они располагали в рамках СССР. И в этом смысле можно предположить, что даже тем постсоветским странам, которые не пережили внутреннего конфликта, вызванного бунтом меньшинств, в той или иной форме еще предстоит пройти новую фазу выяснения отношений с ними.

Все три раздела, таким образом, обращают нас к тем эффектам транзита, которые были заложены в системе советских институтов, вполне сносно функционировавших, пока система могла позволить себе значительное насилие, но обернувшихся непредсказуемыми последствиями, когда возникла потребность, снизив значимость насилия, найти новые стимулы развития и механизмы регулирования вроде хозяйственной самостоятельности предприятий, плюрализма мнений и электоральной конкуренции.

¹⁷ Дерлугьян Г. М. Адепт Бурдые на Кавказе. Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. М.: Территория будущего, 2013.

Подводя итоги этого среза современных осмыслений трех десятилетий посткоммунизма, можно сказать, во-первых, что в отличие от предыдущего цикла, когда исследователи и интеллектуалы были заняты в основном выяснением вопроса «почему у одних стран получилось, а у других не получилось?», сегодня гораздо более проблематизированным выглядит само понятие «получилось». Вопрос «что же получилось и не получилось у Литвы, у Болгарии, Украины или Казахстана?» выглядит сегодня гораздо более насущным и адекватным. Так, например, у Литвы получилось полноценно вернуться в Европу в институциональном смысле, но не вполне получилось найти свое место в ней или сохранить и приумножить собственный человеческий капитал. У Казахстана же получилось, пожертвовав частью своего человеческого капитала и возможностями политической модернизации, превратить административную территорию, где казахи составляли лишь 40% населения, в национальное казахское государство, где они составляют порядка двух третей населения и могут позволить себе не предоставлять никаких прав автономии неказахским меньшинствам. У целого ряда стран (например, Украины) получилось утвердить институт электоральной конкуренции, но не получилось воспроизвести структурирующую эту конкуренцию партийную систему и поставить с ее помощью под контроль избираемую власть. Большинству постсоветских стран удалось создать рыночную экономику, основанную на свободном ценообразовании, относительной свободе предпринимательства и свободе распоряжения прибылью, но не удалось воспроизвести или утвердить институт собственности в том виде, какой он приобрел на Западе.

Такой дифференцирующий взгляд на итоги и результаты транзита позволяет уйти от нормативного подхода, характерного для предыдущего цикла его осмысления, разделившего все страны на те, у кого «получилось», и те, у кого «не получилось». И в результате, что кажется особенно важным, увидеть те блокирующие механизмы, которые срабатывают в различных сценариях транзита, и те напряжения и дисбалансы, которые, по всей видимости, будут определять политическую динамику посткоммунистических стран в следующем десятилетии.

Часть I

Драма ожиданий: деконструкция пессимизма

Иван Крстев (Центр либеральных исследований, София)

ТЕРНИИ «НОРМАЛЬНОСТИ» КОНЕЦ ЭПОХИ ИМИТАЦИИ

В 1989 году чиновник Госдепартамента США точно уловил дух времени, объявив еще за несколько месяцев до того, как немцы будут радостно танцевать на разбитых кувалдами обломках Берлинской стены, что холодная война закончена¹⁸. Впечатляющая победа либерализма над коммунизмом была утверждена десятилетием экономических и политических реформ, начатых в Китае Дэн Сяопином и в Советском Союзе Михаилом Горбачевым. Ликвидация «марксистско-ленинской альтернативы либеральной демократии», утверждал в этой своей статье Фрэнсис Фукуяма, свидетельствует о «полном исчерпании жизнеспособных систематических альтернатив западному либерализму». Прославлявшийся марксистами как высшая точка «истории» в гегелевском смысле, коммунизм внезапно превратился в «историю» в совершенно другом значении, в то время как «западная либеральная демократия» в этих обстоятельствах, наоборот, может быть названа «конечной точкой идеологической эволюции человечества». После падения «фашистской и коммунистической диктатуры единственной формой правления, которая сохранилась до конца двадцатого века, оказалась либеральная демократия». И так как «основные принципы либерально-демократического государства» выглядят «абсолютными и не могут быть улучшены», единственной задачей, которую остается выполнить либеральным реформаторам, является «пространственное расширение их использования, чтобы различные регионы человеческой цивилизации могли подтянуться до уровня передовых аванпостов». Фукуяма утверждал, что либерализм «в конечном итоге будет торжествовать во всем мире». Но главная его идея состояла в том, что появление «идеологии, претендующей на то, чтобы быть более продвинутой, чем либерализм», невозможно¹⁹.

Фукуяма был несколько уклончив в объяснении того, что на практике означает признание капиталистической демократии конечной стадией политического развития человечества. Но его аргумент, несомненно, подразумевал, что западная либеральная демократия является единственным жизнеспособным идеалом, к которому должны стремиться реформаторы во всем мире. Когда он писал, что последний «маяк для нелиберальных сил» был потушен китайскими и советскими реформаторами, он имел в виду, что только либеральный маяк Америки освещает теперь путь человечеству в будущее²⁰.

Это отрицание существования какой-либо глобально привлекательной альтернативы западной модели объясняет, почему тезис Фукуямы в то время казался самоочевидным даже для диссидентов и реформаторов, живущих за железным занавесом. Если для многих американцев понимание американского либерализма как финальной стадии истории не выглядит непривычным, то тот факт, что так же думали не только диссиденты, но и вполне простые люди, выросшие за железным занавесом, примечательно. Именно поэтому Фукуяма описывал крушение коммунистических режимов на языке гегельянско-марксистской диалектики. Усво-

¹⁸ Fukuyama F. The End of History? // National Interest. Summer 1989.

¹⁹ Ibid. P. 12, 3, 5, 8, 13; Fukuyama F. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992. P. 45.

²⁰ Fukuyama F. The End of History? P. 12.

ившие со школьной скамьи, что история имеет заданное направление и счастливый финал, многие бывшие коммунисты, прочитав написанное Фукуямой на остатках Берлинской стены, оказались концептуально подготовленными к тому, чтобы принять его версию событий. Всего за год до того, в 1988-м, группа наиболее ярких сторонников демократического плюрализма в Советском Союзе опубликовала сборник статей под названием «Иного не дано» – своего рода библию перестроечного реформизма, утверждавшую ту же самую идею об отсутствии жизнеспособных альтернатив западной рыночной демократии.

Говоря сегодня, что именно 1989 год ознаменовал начало тридцатилетней Эпохи подражания, мы имеем в виду, что после первоначального увлечения идеей копирования западной модели в разных частях мира, лишённого политических и идеологических альтернатив, поднимается все более явное отвращение к политике подражания. Именно это отсутствие альтернатив, а не гравитационное притяжение авторитарного прошлого или исторически укоренившаяся враждебность к либерализму лучше всего объясняет антизападные настроения, преимущественно доминирующие сегодня в посткоммунистических обществах²¹. Сама претензия на то, что «иного не дано», становится важным побудителем волны популистской ксенофобии и реакционного нативизма, которая началась в Центральной и Восточной Европе и в настоящее время захлестнула большую часть мира. Отсутствие убедительной альтернативы либеральной демократии и стало стимулом для этого восстания, поскольку «люди нуждаются в выборе или хотя бы его иллюзии»²².

Популисты протестуют не столько против определенного (либерального) типа политики, сколько против замены коммунистической ортодоксии либеральной. Послание этих повстанческих движений как слева, так и справа состоит в том, что принцип «бери или уходи» в основе своей неверен и что вещи могут быть другими, более знакомыми и аутентичными.

Очевидно, что нет какого-то единственного фактора, который способен объяснить одновременное возникновение авторитарного антилиберализма в столь разных и многих странах во втором десятилетии XXI века. Тем не менее именно ресентимент по поводу канонического статуса либеральной демократии и политики имитации играет в этом, как представляется, решающую роль не только в Восточной Европе, но также в России и в США. Чтобы показать это, мы призовем в свидетели двух наиболее ярких критиков либерализма Центральной Европы. Польский философ и член Европейского парламента от консерваторов Рышард Легутко возмущается тем, что «у либеральной демократии нет альтернативы», что она стала «единственным приемлемым способом и методом организации коллективной жизни» и что «либералы и либеральные демократы заставили замолчать и маргинализировали практически любые альтернативы и любые нелиберальные взгляды на политический порядок»²³. Влиятельный венгерский историк Мария Шмидт, главный интеллектуал Виктора Орбана, соглашается: «Мы не хотим копировать то, что делают немцы, или то, что делают французы <...> Мы хотим придерживаться своего собственного образа жизни»²⁴. Оба заявления предполагают, что упрямое

²¹ Объяснять эти, преобладающие сегодня в регионе, политические тенденции сходством с политическими паттернами прошлого, как это делают многие интерпретаторы посткоммунистического антилиберализма, значит просто ошибочно принимать сходство за причинность.

²² «В 2008 году специалист по поведенческой экономике из Массачусетского технологического института Дэн Арили провел эксперимент: участники, игравшие в компьютерную игру, видели на экране три двери; нажатие на каждую означало определенную сумму; разумной стратегией было, найдя самую „дорогую“ дверь, нажимать на нее до конца игры, но как только некликабельные двери начинали уменьшаться и исчезать, участники тратили нажатия, чтобы сохранить их как открытую опцию. Это глупо, но мы ничего не можем с этим поделать. Людям нужен выбор или хотя его иллюзия. Джордж Элиот однажды написал, что выбор является „самым сильным принципом роста“. Как мы можем расти, если не можем выбирать?» (*Yo Zushi. Exploring Memory in the Graphic Novel // New Statesman. 6 February 2019*).

²³ *Legutko R. The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies // Encounter Books. 2018. P. 63, 20, 80.*

²⁴ Цит. по: *Oltmann Ph. Can Europe's New Xenophobes Reshape the Continent? // The Guardian. 3 February 2018.* К этим двум истолкователям посткоммунистического антиимитационного духа мы можем добавить голос российского офицера в отставке, который имеет официальное звание начальника контрразведки Министерства государственной безопасности Донецкой Народ-

нежелание признать «полное исчерпание жизнеспособных системных альтернатив западному либерализму» помогло обратить мягкую силу Запада, призванную вдохновлять «подражание», скорее в слабость и уязвимость, нежели в силу и авторитет.

Отказ от капитуляции перед либеральным Западом стал общим знаком антилиберальной контрреволюции во всем посткоммунистическом мире и за его пределами. Такую реакцию нельзя проигнорировать, ограничившись банальным замечанием, что «обвинение Запада» – это просто легкий способ для незападных лидеров уклониться от ответственности за свои собственные управленческие неудачи. На самом деле это гораздо более запутанная и существенная история. И помимо прочего, это история про либерализм, отказавшийся от плюрализма во имя гегемонии.

В 1989 году глобальное распространение либеральной демократии представлялось чем-то вроде версии сказки «Спящая красавица», в которой принцу свободы достаточно было убить дракона тирании и поцеловать принцессу, чтобы разбудить ранее почивавшее либеральное большинство. Но поцелуй оказался горьким, а пробужденное большинство оказалось не столь определенно либеральным, как ожидалось.

Весной 1990 года Джон Феффер, 25-летний американец, за несколько месяцев пересек Восточную Европу в надежде раскрыть тайну ее посткоммунистического будущего и написать книгу об исторических преобразованиях, разворачивающихся на его глазах. Он не был экспертом, поэтому, вместо того чтобы проверять теории, расспрашивал как можно больше людей из самых разных слоев общества и в конечном итоге был очарован и озадачен противоречиями, с которыми сталкивался на каждом шагу. Восточноевропейцы были оптимистичны, но встревожены. Многие из тех, с кем он беседовал, ожидали, что лет через пять – самое большее шесть будут жить как лондонцы или венцы. Но эти непомерные надежды соседствовали с тревогой и опасениями²⁵. Венгерский социолог Элемер Ханкисс заметил: «Люди внезапно осознали, что в ближайшие годы будет решено, кто будет богатым, а кто – бедным; кто будет иметь власть, а кто нет; кто будет маргинализован, а кто будет в центре. И кто сможет основать династии, а чьи дети пострадают»²⁶. Феффер опубликовал свою книгу, она не стала бестселлером, и в течение следующих двух десятилетий он не возвращался в страны, которые так захватили его воображение в 1989 году. Но 25 лет спустя он решил вновь посетить регион и найти тех, с кем говорил в 1990-м. Восточная Европа была гораздо богаче, однако полна обиды. Пришло капиталистическое будущее, но его блага и бремя распределялись страшно неравномерно. Феффер пришел к выводу: «Для нынешнего поколения в регионе либерализм – это поверженный бог»²⁷.

Вопрос в том, почему Центральная Европа отвернулась от своей либеральной мечты 1989 года. Когда холодная война закончилась, стремление присоединиться к Западу, как он представлялся из-за железного занавеса, стало общим для жителей Центральной и Восточной Европы. Действительно, стать неотличимым от Запада было, возможно, главной целью революций 1989 года. Восторженное копирование западных моделей, сопровождаемое эвакуацией советских войск из региона, первоначально воспринималось как освобождение. Но после двух беспокойных десятилетий издержки политики имитации стали слишком очевидными, чтобы их отрицать. По мере роста ressentimenta росла и популярность приходящих к власти антилиберальных политиков в Польше и Венгрии.

ной Республики: «Я хочу Русской идеи для русских людей; я не хочу, чтобы американцы учили нас, как жить. Я хочу иметь сильную страну, которой можно гордиться. Я хочу, чтобы жизнь снова имела какой-то смысл» (цит. по: *Walker Sh. The Long Hangover: Putin's New Russia and the Ghosts of the Past. Oxford: Oxford University Press, 2018. P. 4*).

²⁵ *Feffer J. Shock Waves: Eastern Europe after the Revolutions. Boston: South End Press, 1992.*

²⁶ Цит. Феффером по: *Thorpe N. 89: The Unfinished Revolution. London: Reportage Press, 2009. P. 191–192.*

²⁷ *Feffer J. Aftershock: A Journey into Eastern Europe's Broken Dreams. London: Zed Books, 2017. P. 34.*

В 1989 году либерализм в целом ассоциировался с привлекательными идеалами индивидуальной свободы, со справедливостью и с законностью, прозрачностью правительства. К 2010 году центрально- и восточноевропейские версии либерализма были омрачены двумя десятилетиями ассоциации с растущим социальным неравенством, повсеместной коррупцией и массовым перераспределением государственной собственности в руки немногих. Экономический кризис 2008 года, в свою очередь, породил глубокое недоверие к элите любого типа, и преобладающее настроение представляло собой взрывную смесь гнева и конспирологических фантазий. Западу больше нельзя было доверять. Уверенность в том, что западная политэкономия является образцом для будущего всего человечества, была завязана на веру в то, что западные элиты знают, что делают. И внезапно стало очевидно, что это не так.

ОГЛЯНУТЬСЯ ВО ГНЕВЕ

По словам Джорджа Оруэлла, «все революции – это неудачи, но не все неудачи одинаковы»²⁸. Итак, неудачей какого типа стала революция 1989 года, учитывая, что ее целью была нормальность в «западном» смысле? В какой степени либеральная и потому «имитационная» революция 1989 года стала причиной антилиберальной контрреволюции, развернувшейся два десятилетия спустя? Идея «нормального общества» стала утопией 1989 года. Но как получилось, что жители Центральной Европы оказались обмануты своим собственным стремлением к нормальной жизни?

Как и предыдущие революции, претендовавшие на то, чтобы стать прорывом из тьмы прошлого в светлое будущее, революция «нормальности» 1989-го представлялась скорее как движение через физическое пространство, как если бы вся посткоммунистическая Европа переместилась в Дом Запада, давно обжитой его обитателями, но жителями Восточной Европы наблюдаемый ранее лишь на фотографиях и в фильмах. Объединение Европы было эксплицитной аналогией объединения Германии. Фактически в начале 1990-х многие жители Центральной и Восточной Европы пылали завистью к удивительно счастливым восточным немцам, которые в одночасье все вместе иммигрировали на Запад, чудесным образом проснувшись с западногерманскими паспортами и кошельками, наполненными полноценными немецкими марками. Революция 1989 года была, таким образом, иммиграцией на Запад целого региона. Известный американский ученый-правовед и бывший главный юрисконсульт Службы гражданства и иммиграции США Стивен Легомский однажды заметил, что «иммигрируют не страны, а люди». В случае посткоммунистической Центральной и Восточной Европы он оказался неправ. Однако революция в форме иммиграции оказалась гораздо более проблематичной, чем многие ожидали.

Революции, как правило, заставляют людей пересекать границы – если не территориальные, то по крайней мере моральные. Во времена Французской революции многие ее враги вынуждены были рассеяться за границей. Когда большевики захватили власть в России, миллионы «белых» россиян покинули страну и годами жили в изгнании, не распаковывая чемоданов в надежде на то, что большевистская диктатура в конечном итоге рухнет. Неявный контраст с концом коммунизма едва ли может быть более резким. И после 1789 года, и точно так же после 1917 года побежденные враги революций покинули свои страны. После 1989 года именно победители бархатных революций, а не проигравшие выбирали отъезд. Те, кому больше всего не терпелось увидеть собственные страны изменившимися, как раз больше всего и стремились погрузиться в жизнь свободных граждан и потому первыми отправились учиться, работать и жить на Запад.

²⁸ Orwell G. The Collected Essays, Journalism and Letters. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968. Vol. 3. P. 244.

Чтобы осознать, насколько неодолимым был соблазн эмиграции для восточноевропейцев после 1989 года, следует учитывать не только существенную разницу в уровне жизни между Западом и Востоком и чисто техническую легкость такого «переезда», но и одно из наименее обсуждаемых наследий коммунизма – память о том, как трудно было из-за бюрократических препон поменять место жительства при коммунистическом строе. Сначала коммунистические власти принудительно переселяли людей из деревень в города, но позднее начали жестко ограничивать внутреннюю мобильность. В результате разрешение на переезд из села в город стало считаться серьезным продвижением вверх по социальной лестнице. Быть рабочим было намного престижнее, чем крестьянином. Но в то же время перебраться из одного города в другой – и особенно в столицу – в поисках лучше оплачиваемой работы при старом режиме было намного труднее, чем теперь выехать на заработки за границу. В итоге коммунистический режим, превратив переселение с культурно-политической периферии в культурно-политический центр в особую привилегию, способствовал тому, что географическая мобильность стала не просто желанной целью, но и синонимом малодоступного и высоко ценимого социального достижения.

Мечта о коллективном возвращении бывших коммунистических стран в Европу придала индивидуальному решению «свалить» за границу логичность и легитимность. Действительно, зачем молодому поляку или венгру дожидаться, пока его страна когда-нибудь станет похожей на Германию, если он уже завтра может работать и воспитывать детей в самой Германии? Не большой секрет, что поменять одну страну на другую проще, чем изменить ту, в которой живешь. После 1989 года, когда границы открылись, опция «выезда» (exit) выглядела предпочтительнее опции «голоса» (voice) – ведь проведение политических реформ требует постоянного согласования многочисленных социальных интересов, в то время как выбор в пользу эмиграции – это единоличное или семейное решение, даже если этот выбор принимает лавинообразный характер подобно «бегству вкладчиков» из банка. Тому, что эмиграция стала политическим решением для многих либерально настроенных жителей Центральной и Восточной Европы, способствовало также недоверие к идее этнонациональной «лояльности» и перспектива политического объединения Европы.

Массовый отток населения из этого региона после окончания холодной войны и особенно тот факт, что «голосовала ногами» прежде всего молодежь, обернулся глубокими экономическими, политическими и психологическими последствиями. Масштабная эмиграция охватила страны, чье население и без того сокращалось, и не стоит удивляться, что она вызвала «демографическую панику». В 1989–2017 годах Латвия потеряла 27% населения, Литва – 22,5%, Болгария – почти 21%. Два миллиона восточных немцев, или почти 14% населения ГДР на 1989 год, отправились в Западную Германию в поисках работы и лучшей жизни. Только после вступления Румынии в ЕС в 2007 году страну покинуло 3,4 млн человек, причем в подавляющем большинстве это были люди моложе сорока. В результате кризиса 2008–2009 годов из Центральной и Восточной Европы в Западную приехало больше людей, чем беженцев, хлынувших туда из-за войны в Сирии. Болгария, в частности, «столкнулась с более масштабным процентным сокращением населения, не связанным с войной или голодом, чем любая другая страна в современную эпоху. Страна теряла по 164 человека в день, по тысяче в неделю и более 50 000 в год»²⁹. Можно утверждать, что непрекращающийся поток эмигрантов в сочетании со старением населения и низкой рождаемостью стал главным (но не упоминаемым вслух) источником демографической паники в Центральной и Восточной Европе. Этим же объясняется враждебность к иностранцам, проявленная подавляющим большинством жителей этих стран в ходе «кризиса беженцев» в 2015 году.

²⁹ Feffer J. Aftershock. P. 34

Эффект депопуляции – одна из наименее изученных причин поворота Центральной и Восточной Европы в сторону антилиберализма. Когда страну покидает врач, он «уносит с собой» все средства, которые государство вложило в его обучение, лишает родину своего таланта и честолюбия. Деньги, которые этот врач со временем будет отправлять семье, никоим образом не компенсируют утрату его участия в жизни собственной страны. Кроме того, «исход» молодых, образованных людей серьезно, а то и фатально снижает шансы либеральных партий на успех в ходе выборов. Отъездом молодежи можно объяснить и то, что во многих странах региона мы видим прекрасно обустроенные на еэсовские деньги детские площадки, но не видим играющих на них детей. Не менее красноречив и тот факт, что либеральные партии в странах региона пользуются наибольшей популярностью у тех избирателей, что голосуют за рубежом. Так, в 2014 году либерал Клаус Йоханнис, немец по происхождению, стал президентом Румынии потому, что за него проголосовало подавляющее большинство из 300 000 румын, живущих за границей. В стране, где большинство молодежи жаждет уехать, сам факт, что вы остаетесь на родине, заставляет вас чувствовать себя неудачником, каких бы успехов вы ни добились.

В мире с открытыми границами угроза, с которой сталкиваются сейчас страны Центральной и Восточной Европы, аналогична той, с которой столкнулась ГДР перед строительством Берлинской стены. Речь идет об опасности, что эти страны, по сути, могут остаться без граждан трудоспособного возраста – так как те отправятся на Запад в поисках лучшей жизни, тем более если учесть, что предприятия в таких странах, как Германия, отчаянно нуждаются в рабочих руках, а Европа в целом все меньше готова принимать неевропейцев на постоянное жительство. Панику жителей этих стран перед лицом вымышленного «вторжения» иммигрантов можно объяснить: в ней слышится искаженное эхо более реального подспудного опасения, что значительная часть собственного населения, включая наиболее талантливых молодых людей, может покинуть Центральную и Восточную Европу навсегда ради жизни за границей.

Травма, связанная с массовым *оттоком* людей из региона, объясняет загадочные причины сильного чувства утраты, возникшего даже у жителей тех стран, которым посткоммунистические изменения в политике и экономике принесли весьма ощутимые выгоды. Аналогичным образом по всей Европе именно там, где население за последние десятилетия сократилось сильнее всего, избиратели в наибольшей степени готовы голосовать за крайне правые партии. Такая корреляция убедительно свидетельствует, что антилиберальный «поворот» в Центральной Европе тоже неразрывно связан с массовым «исходом» людей, особенно молодежи, из региона и с демографическими опасениями, которые повлекла за собой эта «эмиграция будущих поколений».

НЕВЫНОСИМАЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ «НОРМАЛЬНОСТИ»

Популистский мятеж против утопии «нормальности» по западному образцу оказался столь успешным в Центральной и Восточной Европе потому, что за последние три десятка лет посткоммунистические общества убедились, что «нормальность», как ее ни определяй, имеет свои минусы. Они столкнулись с непоследовательностью посткоммунистической нормальности.

В своей книге 1966 года «Норма и патология» французский философ и врач Жорж Кангилем поясняет, что понятие «нормальности» имеет двойкий смысл – описательный и нормативный³⁰. «Нормальными» могут считаться как фактически распространенные практики, так и практики идеальные с нравственной точки зрения. Трагедия посткоммунистического транзита заключалась в том, что в Центральной и Восточной Европе два этих разных смысла нор-

³⁰ Canguilhem G. The Normal and the Pathological / Transl. C. R. Fawcett, R. S. Cohen. New York: Zone Books, 1991.

мальности вошли в противоречие друг с другом. После 1989 года расхождение между нормативным (предполагаемым) и описательным (фактическим) смыслом нормальности стало источником многочисленных разночтений и недоразумений между Западом, с одной стороны, и жителями Центральной и Восточной Европы, с другой³¹. Возьмем ситуацию, когда представитель МВФ пытается объяснить в Софии или Бухаресте, что давать и брать взятки «ненормально», а его собеседники теряются в догадках: что он вообще имеет в виду? И их можно понять: как считать ненормальным то, что практикуется на каждом шагу?

В 2016 году знаменитый румынский кинорежиссер Кристиан Мунджиу снял фильм «Выпускной», где ему удалось ярко изобразить трагическую пропасть между «нормальным» в смысле адаптации к неприглядным местным условиям и «нормальным» в смысле верности принципам, которые на Западе воспринимаются как нечто само собой разумеющееся³². Главный герой картины Ромео Альдеа – немолодой врач в провинциальной больнице. Вместе с женой и дочерью он живет в убогой квартирке запущенной многоэтажки, построенной еще при Чаушеску, в городке Клуж-Напока на северо-западе Румынии. Во вселенной этого провинциального городка он – человек вполне успешный, но мы понимаем, что жить он хотел бы не здесь. Альдеа и его жена чрезвычайно, почти отчаянно гордятся своей дочерью, которой один британский университет предложил стипендию на обучение психологии после окончания средней школы. Высшие баллы на выпускных экзаменах позволяют ей получить нормальное образование и жить нормальной жизнью, как всегда мечтали ее родители.

Но за день до экзаменов Элиза становится жертвой хулиганского нападения и едва избегает изнасилования. Хотя физических травм она не получила, психологическое потрясение не позволяет ей сдать экзамены на отлично. В этой ситуации Альдеа вынужден воспользоваться своим служебным положением: оказать «по благу» услугу человеку, который может помочь Элизе. В результате местный политик получит для трансплантации почку, которая по правилам полагается другому больному. Более того, чтобы эта незаконная схема сработала, в ней должна осознанно участвовать дочь. Ключевой сценой фильма становятся попытки Альдеа убедить дочь: Румыния – не Запад, где можно обойтись без подобной нечистоплотности, и если она хочет учиться в нормальной стране, ей следует сначала адаптироваться к грязной и неэтичной нормальности на родине.

После свержения коммунистических режимов многие на Западе искренне верили, что либеральная демократия в одночасье придет им на смену – «выскочит» на поверхность, как кусок жареного хлеба из тостера. Когда же ожидаемого чуда не произошло, некоторые западные эксперты решили, что люди на Востоке просто «не разобрались, что надо делать». Взлет националистического популизма в регионе был расценен не как объяснимая *ответная реакция* на демократизацию в формате имитации, а как необъяснимое *отступничество*, никоим образом не связанное с тем, как Запад вел себя по отношению к Востоку. Более того, «отступничество» стало универсальным термином, используемым для того, чтобы как-то объяснить откат к авторитаризму и ксенофобии в таких странах, как Польша и Венгрия. Шокирующее отторжение западного либерализма Восточной и Центральной Европой рассматривается как регрессия в том смысле, который вкладывал в него Фрейд: возврат к предыдущей, детской стадии развития.

«Отступничество», как выясняется, имеет и сильные религиозные коннотации. Первоначально этим словом миссионеры обозначали возврат новообращенных христиан к прежним обычаям. Отступниками называли не тех, кто открыто отходил от христианства и возвращался к язычеству, а тех, кто продолжал притворяться христианами, но втайне практиковал языче-

³¹ Классическим примером нечуткости сторонних наблюдателей к историческим коннотациям слова «нормальность» в регионе стала известная статья Андрея Шлейфера и Дэниэла Трейсмана: *Shleifer A., Treisman D. Normal Countries. The East 25 Years After Communism // Foreign Affairs. November/December 2014.*

³² *Bradshaw P. Graduation review – a five-star study of grubby bureaucratic compromise // Guardian. 19 May 2016.*

ские ритуалы и культы. «Отступничество» – это обращение в новую веру, которое оказалось обманом. Однако антилиберальный поворот в Центральной и Восточной Европе – не отступничество, а именно обратная реакция на двусмысленность нормальности, отличающей преобразования посредством имитации.

Адаптация к местным ожиданиям и паттернам поведения является необходимым условием для успешных действий и взаимодействий в любом обществе. Поэтому, чтобы остаться у руля, посткоммунистические элиты в Центральной и Восточной Европе не имели другого пути, кроме как адаптироваться, хотя бы на первом этапе, к привычным в своих странах практикам. Так, румыны, находясь в Румынии, должны приспосабливаться к рутинному образу поведения своих соотечественников; в Болгарии бизнесмен, желающий остаться принципиальным человеком и не дающий взятку, вскоре останется без своего бизнеса. Вместе с тем национальные элиты этих стран стремятся приобрести международную легитимность в глазах Запада, а для этого требуется, чтобы они поступали так, как на Западе считается нормальным, например отказывались давать и брать взятки. Иными словами, чтобы адаптировать свое поведение к возвышенным ожиданиям западных коллег, центрально- и восточноевропейские элиты вынуждены были поворачиваться спиной к ожиданиям, превалирующим в их национальных сообществах. И наоборот: для координации своего поведения с поведением ближайших соседей и родственников им приходилось игнорировать ожидания своих западных наставников и коллег. В результате, чтобы действовать эффективно, посткоммунистические элиты должны были мириться со взяточничеством у себя дома и одновременно выступать против коррупции на международной арене. Скорее всего, «сидя на двух стульях» разных идентичностей – местной и космополитической, – они не чувствовали себя комфортно ни в одной из этих ипостасей. Тщетно пытаясь совместить два диаметрально противоположных представления о нормальности, они начинали хронически ощущать себя притворщиками, а то и двурушниками, и зачастую утрачивали доверие и на родине, и за рубежом.

Как выясняется, революция во имя нормальности порождает не только психологический дискомфорт, но и политические потрясения. Быстрые изменения в самой западной модели усугубляют у ее потенциальных имитаторов гнетущее чувство измены самим себе. К примеру, во времена холодной войны в глазах консервативно настроенных поляков западное общество было нормальным, поскольку, в отличие от коммунистического строя, в нем оберегались традиции и сохранялась вера в бога. Но сегодня поляки вдруг обнаружили, что «нормальность» по-западному – это секуляризм, мультикультурализм и однополые браки. Стоит ли удивляться, что некоторые жители Центральной и Восточной Европы, поняв, что консервативного общества, которое они хотели имитировать, больше не существует и что его смыло бурным потоком модернизации, почувствовали себя «обманутыми»?

В то же время на самом Западе стремление антилибералов изменить политическое устройство посткоммунистических стран по образцу уже преодоленной сексистской, расистской и нетолерантной версии «Запада» не только воспринимается как бесплодная попытка обратить время вспять, но и выглядит покушением на заработанный потом и кровью «моральный прогресс» Запада, а потому огульно осуждается как проявление враждебности к Западу в целом.

Многие в Центральной и Восточной Европе отождествляют вестернизацию с предательством и по другой причине: важный аспект продолжающейся «культурной войны» между двумя частями Европы связан с непростыми межпоколенческими отношениями после крушения коммунизма. Одно из последствий однополярной Эпохи имитации заключается в том, что школьников начали учить искать образцы для подражания на Западе. И по мере внедрения этого стандарта в образовании идея подражать своим родителям становилась для них все менее привлекательной. Тем, кто родился после 1989 года, было нетрудно «синхронизировать» свои представления и поведение с западными стандартами. Но по той же причине «координация»

своих ожиданий с ожиданиями предыдущих поколений казалась им «немодной». В результате в посткоммунистических странах родители утратили способность передавать собственные ценности и убеждения своим отпрыскам. Для последних то, как жили их родители, то, чего они добились или как страдали при коммунизме, уже не имело значения ни в материальном, ни в моральном плане. Молодежь не взбунтовалась против родителей, как это было на Западе в 1968 году, она просто перестала им сочувствовать и вообще не обращала на них внимания. С появлением социальных медиа общение стало происходить преимущественно внутри четко очерченных поколенческих групп. «Соединиться» через интернет со сверстниками поверх государственных границ проще, чем вести диалог через границы, пролегающие между поколениями. Столкнувшись с неспособностью «запрограммировать» своих детей собственными ценностями, родители в этом регионе начали почти истерично требовать, чтобы за них это сделало государство. От него требовали выслать «спасательные команды», чтобы освободить детей из лап коварных западных «похитителей». Этот «крик души» может показаться жалким нытьем, но именно он стал важным источником народной поддержки антилиберальных популистов в регионе. Детей должны заставить слушать в школе то, что они отказываются слушать дома. В крушении родительского влияния – хотя это характерная черта любой революции – теперь напрямую обвиняют Запад. Действуя через еэсовские структуры, Запад взял под контроль национальные системы образования и тем самым развратил детей. Достаточно вспомнить, что самым ожесточенным полем боя «культурной войны» в Центральной и Восточной Европе стал вопрос о сексуальном просвещении в школах³³.

Кое-кто задается вопросом: как бывшие диссиденты вроде Орбана и Качиньского могут называть себя контрреволюционерами? Ответ состоит в том, что «революция нормализации» 1989 года, по их мнению, обернулась общественным устройством, в рамках которого национальное наследие и традиции посткоммунистических стран оказались под угрозой уничтожения в результате имитации нравственности западного образца. Чтобы вернуть «боевой дух», который, как заметил еще сам Гавел, посткоммунистические общества утратили, антилиберальные популисты мечут громы и молнии в адрес абсурдной «убежденности в „нормальности“ либеральной демократии»³⁴. Как ни странно, именно таким путем происходит полное слияние диссидентства и контрреволюции. И именно таким образом вестернизаторская революция способна спровоцировать антизападную контрреволюцию, вызывающую ошеломление и замешательство на самом Западе.

Стоит также кратко остановиться на последнем негативном эффекте двоякого смысла нормальности. В попытках примирить идею «нормального» как распространенного и привычного с тем, что на Западе считается нормативно обязательным, поборники консервативной культуры в Центральной и Восточной Европе порой стремятся привести западные страны к «нормальному» знаменателю, утверждая: то, что мы видим на Востоке, столь же распространено и на Западе – просто, по версии популистов, представители Запада лицемерно делают вид, будто их общество совсем другое. Популистские лидеры помогают своим последователям снять нормативный диссонанс между взяточничеством «не от хорошей жизни» на Востоке и борьбой с коррупцией ради одобрения Запада, заявляя, в духе классического ресентимента, что Запад не менее коррумпирован, чем Восток, но там просто отрицают очевидное и скрывают неприглядную правду.

Примерно так же правительства Венгрии и Польши оправдывают манипуляции с конституцией и политическое кумовство, за которое их постоянно критикуют в Брюсселе. Они пытаются доказать, что их методы повсеместно практикуются и на Западе, просто «западники»

³³ *Smilova R.* Promoting «Gender Ideology»: Constitutional Court of Bulgaria Declares Istanbul Convention Unconstitutional // Oxford Human Rights Hub. 22 August 2018; <http://ohrh.law.ox.ac.uk/promoting-gender-ideology-constitutional-court-of-bulgaria-declares-istanbul-convention-unconstitutional>.

³⁴ *Legutko R.* Liberal Democracy vs. Liberal Democrats // Quadrant Online. April 2015.

не готовы в этом признаться. И здесь мы обнаруживаем еще один парадокс Эпохи имитации: популисты Центральной и Восточной Европы оправдывают собственный провокационный антилиберализм, делая вид, будто они абсолютно четко следуют западным образцам, что в данном случае означает: мы такие же плохие, как сам Запад. Одним словом, кризис, который сейчас переживает Центральная Европа, до боли напоминает кризис второго поколения мигрантов в западных обществах.

Перевод с английского Максима Коробочкина

ПЯТЬ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ «ЭПОХИ-1989»

Андрей Мельвиль (НИУ ВШЭ, Москва)

ВВЕДЕНИЕ

Драматические периоды в мировой истории, ломающие ее обычный ход и привычную логику, как хорошо известно, предполагают рождение радикально новых надежд и ожиданий. В их основе – не только вполне понятные и сильные эмоции, связанные со сломом традиционных политических, социальных, экономических и культурных укладов, но и распространенные в обществе, в различных его слоях, идеи и представления, которые в свою очередь и в конечном счете вытекают из определенного восприятия и понимания общих закономерностей и последовательности происходящих событий. «Эпоха-1989» в этом отношении дает нам ценный материал для размышлений, в том числе относительно динамики не всегда явно прослеживаемых теоретических компонентов массовых политических надежд и ожиданий.

Три с лишним десятилетия назад очень многие в разных странах мира, в том числе в ареале стагнирующего и разваливающегося «реального социализма», жили в трепетном ожидании пришествия и триумфа «третьей волны демократизации», по выражению Сэмюэла Хантингтона, а также яркой плеяды так называемых «транзитологов» (Гильермо О’Доннелла, Ларри Даймонда, Адама Пшеворского, Филиппа Шмиттера и мн. др.). Ждали неотвратимого распада автократий и прихода всеобщей и универсальной эры демократии, которую можно построить «здесь и сейчас», в любых условиях – была бы только политическая готовность элит-реформаторов. Верили, что выбор правильного «институционального дизайна» едва ли не решающий фактор успеха демократических реформ. В целом воспринимали логику глобального развития в своего рода «линейной перспективе» – как однозначно ведущую от авторитаризма к всеобщей демократии.

Конечно, реально «теория» была намного сложнее, в частности и Хантингтон, и его коллеги в принципе допускали разновекторные траектории мирового и национального политического развития, в том числе возможные, хотя и временные, волнообразные авторитарные «откаты». Рассматривались и куда более сложные варианты сочетания интересов и стратегий участников реформ, в том числе напряжения и конфликты между ними. Но в получивших распространение в те оптимистические времена популярных представлениях доминирующей все же оказалась «спрямленная» и упрощенная версия ожиданий – то, что позднее Томас Карозерс назвал «парадигмой транзита». И он был прав. Такой линейный – от авторитаризма к демократии – «транзит» явно не состоялся. Но что все это значит, какие последствия отсюда вытекают, какие уроки можно вынести на будущее?

Сегодня, в условиях едва ли не господствующих в публичном дискурсе и политической аналитике рассуждений о случившемся «кризисе демократии», «демократической рецессии», «исчерпанности либерализма», «консервативной волне» и «возврате авторитаризма» было бы важно трезво взглянуть на несбывшиеся политические и теоретические ожидания (как и иллюзии) тридцатилетней давности, в том числе чтобы понять возможные направления глобальных трендов современного развития и возникающие развилки. Это важно и потому, что выявившаяся несостоятельность многих оптимистических надежд «эпохи-1989» сейчас очень часто используется как чуть ли не «убийственный» аргумент против самой идеи демократизации.

Более того, сама идея демократии зачастую представляется как ложная или незначимая цель для приоритетов современного развития, прежде всего основанных на достижении и удержании стабильности и обеспечении развития. Так ли это? Дают ли несбывшиеся надежды и уроки трех прошлых десятилетий основания для ее дискредитации или забвения?

Кстати, у нас, в России, юбилей 1989 года хоть и не стал общенародным событием, но явно не прошел незамеченным – по данным «Левада-Центра», 88% знают о том, что тогда произошло, и 70% оценивают происшедшее 30 лет назад позитивно³⁵. Это очень важно, особенно в контексте современного неоконсервативного нарратива – доминирующего и у нас, и во многих других, в том числе посткоммунистических и постсоветских, странах. Приведенные выше данные «Левада-Центра» позволяют сделать важный вывод по поводу несбывшихся надежд «эпохи-1989» относительно демократии и демократизации: в массовых представлениях эти цели отнюдь не дискредитированы; скорее можно сказать, что в массовом сознании сформировалось более глубокое понимание сложности их достижения.

Далее я обозначу пять (на самом деле их гораздо больше, но эти, на мой взгляд, самые важные) политических и теоретических ожиданий (?), которые три десятилетия назад служили обоснованием распространенного тогда оптимизма и которые сегодня оказались, мягко говоря, под очень большим вопросом³⁶.

1. «ДЕМОКРАТИЯ БЕЗ ПРЕДПОСЫЛОК»

Одно из самых распространенных ожиданий тех лет было связано с представлением о том, что демократию можно построить *везде и всегда*, независимо от имеющихся объективных условий и предшествующих традиций. Главное, согласно этой логике, чтобы было такое желание у руководителей и ключевых элит, а также поддержка общества, как это было в «эталонных» странах, с которых и началась «третья волна демократизации» (Португалия, Испания и Греция). Оказалось, однако, что это не совсем так, точнее – чаще совсем не так. Очень часто политические руководители и элиты – как в политике, так и в бизнесе – больше хотят, как легендарный «царь горы», охраны завоеванного в результате первого раунда посткоммунистических реформ статуса и привилегий, в том числе материальных. Что же касается общества, то те же опросы (в том числе сегодня в России) показывают, что люди хотят одновременно и гарантий статус-кво, и перемен.

Это возвращает нас к вопросу об «объективных» условиях и предпосылках демократии и демократизации. Уровни экономического развития, современная социальная структура, гражданская политическая культура – все это необходимо для новой демократии, но, как получается, недостаточно, если ее тормозят ключевые игроки, имеющие собственные интересы.

Замечу, однако, что на самом деле за этими романтическими ожиданиями «демократия *hic et nunc!*» была достаточно серьезная теоретическая аргументация. Классические трактовки демократии и демократизации еще со времен Баррингтона Мура и Сеймура Липсета исходили из приоритета так называемых «структурных» (т. е. «объективных») факторов, из которых как бы «органически» вырастает демократия в качестве их следствия. Совсем другая логика была у транзитологии с ее альтернативной моделью демократизации «без предпосылок» (фактически все упоминавшиеся выше «классики» – О’Доннелл, Шмиттер, Пшеворский, – как и их последователи и эпигоны): презумпция в пользу не «структур», а самих «акторов», выбирающих, независимо от наличия «объективных» условий, те или иные стратегии выхода из авторитаризма (в том числе посредством «пакта» между противостоящими сторонами конфликта).

³⁵ Левада-Центр, 8 ноября 2019.

³⁶ В этой главе используются фрагменты моей статьи: Мельвилль А. Ю. Выйти из «гетто»: о вкладе постсоветских исследований / Russian Studies в современную политическую науку // Полис. 2020. № 1.

Это был фактически основной вектор и оптимистический пафос ожиданий, подкрепленных теоретической и эмпирической литературой 1980-х и начала 1990-х годов. При этом тем не менее подчеркивалось, что благоприятные «структурные» обстоятельства крайне важны на стадии демократической консолидации.

Эта фундаментальная, казалось бы, дилемма *structure/agency* (во многом вдохновленная работами социолога Энтони Гидденса) фактически так и осталась нерешенной, в том числе потому что сегодня есть аргументы и эмпирические примеры, которые можно привести в пользу каждой из этих политических и теоретических альтернатив. С одной стороны, демократии возникают и приживаются там, где для них, с точки зрения ортодоксальной теории, *нет «объективных» предпосылок*³⁷. Но с другой – благоприятные «структурные» условия *не гарантируют демократизацию* (взять хотя бы Россию и Белоруссию) и не препятствуют авторитарному «откату» (как, например, сейчас в Польше и Венгрии).

С начала 2000-х годов эта терявшая былую остроту дискуссия вновь актуализировалась – на этот раз в контексте нынешнего авторитарного крена, в том числе на значительной части постсоветского, но также и посткоммунистического пространства (об этом подробнее будет сказано в последнем, пятом, разделе данной главы). Примечательно, что при этом происходит и определенное смещение теоретического фокуса и аргументации: прочность авторитаризма и авторитарный сдвиг начинают объясняться не интересами и решениями инкубентов и их клиентов, а широко понимаемыми «объективными», «структурными» моментами.

Так, например, для Лукана Уэя и Адама Кейси³⁸ *structure* – это вообще все, что не подлежит непосредственному воздействию индивидуального или коллективного субъекта: от географического положения и геополитического соседства, уровней экономического, социального и человеческого развития до институционального, культурного и иного наследия и традиций национальной идентичности. Тяготение к европейскому вектору развития, обусловленное традициями культуры и геополитикой стран Центральной и Восточной Европы, как и соответствующая «политика стимулов» со стороны ЕС (*linkage and leverage*), также рассматриваются в современной литературе в качестве сильных каузальных факторов структурного характера, объясняющих принципиальный политический раскол в траекториях посткоммунистического и постсоветского развития³⁹. Сэм Грин относит к структурным обстоятельствам даже общий персоналистский характер структур власти, сложившихся на авторитарных или склоняющихся к авторитаризму пространствах Евразии⁴⁰. Лукан Уэй добавляет еще одно теоретически важное измерение в дискуссию о *structure/agency* – возможности демократизации в условиях «слабого» государства и неустойчивого равновесия политических сил и основных игроков, ведущего к возникновению «плюрализма по умолчанию»⁴¹. Остается, впрочем, вопрос относительно устойчивости такого вынужденного «плюрализма».

Подобный разворот экспертной дискуссии имеет непосредственное отношение к рассматриваемой нами первой важнейшей надежде «эпохи-1989» – к возможности конструирования «демократии без предпосылок». Этот фундаментальный для политики и теории вопрос на сегодня остается нерешенным. Мы видим примеры успешной демократизации «несмотря

³⁷ См., в частности, примечательные исследования Стивена Фиша о проблемах демократизации в Молдове и Монголии, где демократические практики устанавливались в крайне неблагоприятной «структурной» среде: *Fish S. The Inner Asian Anomaly: Mongolia's Democratization in Comparative Perspective // Communist and Post-Communist Studies. 2001. Vol. 34. № 3.*

³⁸ *Way L., Casey A. The Structural Sources of Postcommunist Regime Trajectories // Post-Soviet Affairs. 2018. Vol. 34. № 5.*

³⁹ *Way L., Levitsky S. The Dynamics of Autocratic Coercion after the Cold War // Communist and Post-Communist Studies. 2006. Vol. 39. № 3.*

⁴⁰ *Greene S. The End of Ambiguity in Russia // Current History. 2015. Vol. 114. № 774.*

⁴¹ *Way L. A. Pluralism by Default: Weak Autocrats and the Rise of Competitive Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015.*

ни на что», с одной стороны, и одновременно примеры ее торможения и авторитарного разворота там, где, казалось, есть необходимые «объективные» условия, – с другой.

2. «ДЕМОКРАТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ»

Это второе и очень важное ожидание «эпохи-1989». Суть его была в классической для сравнительной политологии идее, что экономическое и социальное развитие, вхождение в «Современность» («Модерн») вполне естественно приводит к политической демократии и ее институтам, отражающим рост требований участия и представительства. Однако эта вроде бы универсальная логика подтверждается как минимум не всегда. Оказалось, что в мире полно богатых и развитых стран (в смысле экономического уровня и социального обеспечения), но при этом совершенно авторитарных и без каких бы то ни было надежд на демократизацию. В том числе среди стран, богатых природными ресурсами, хотя это отдельная большая тема.

По сути дела, это фактически взрывает претензии на универсальность или как минимум требует очень существенного переосмысления известной «гипотезы Липсета». Прежде всего, речь идет о специфической и крайне распространенной трактовке феномена *нового среднего класса без демократического запроса* и фактическое переосмысление предположения Сеймура Мартина Липсета, сформулированного в конце 1950-х годов и на основе простых статистических расчетов показывавшего зависимость между ростом экономического благосостояния в обществе и распространением запроса на демократию. В этой очень привычной для сравнительной политологии схеме важный социальный посредник – средний класс, рост благосостояния, независимого положения и образованности которого ведет к предъявлению новых запросов все более широких социальных слоев в отношении власти и политической системы, а именно требований представительства своих интересов и в конечном счете демократических институтов. В традиционной парадигме модернизации эта «гипотеза Липсета» являлась одним из ее центральных компонентов. Постсоветский и посткоммунистический опыт (как, впрочем, и опыт целого ряда современных развивающихся стран) привносит существенные коррективы в идущие дискуссии.

Основной момент здесь тот, что формирование крайне специфического – прежде всего по уровням потребления – «среднего класса» в России (по разным расчетам от 15 до 40% населения – это, конечно, до нынешнего экономического спада) в условиях масштабного перераспределения «нефтяных» доходов в первом десятилетии 2000-х на основе нового социального контракта отнюдь не повлекло за собой появление массового демократического запроса⁴². Вероятная причина этого заключается в особенностях формирования социальных слоев «среднего» уровня потребления – всецело зависимых от государственного перераспределения и в целом, можно сказать, «огосударственных».

Фактически, в отличие от классической логики формирования среднего класса в странах Запада в 1950–1960-х годах, это не самостоятельные в социально-экономическом отношении слои, а «служивые», как и бывало ранее в российской истории чуть ли не с петровских времен. Отсюда и их поддержка политического и социального консерватизма, статус-кво, политики и идеологии охранительства. Исследования показывают, что экономический рост и образование могут иметь своими результатами отнюдь не запрос на демократию и представительство интересов, а, напротив, *поддержку авторитаризма*⁴³. Заметим, что сходные социальные и поведенческие модели обнаруживаются не только в России и других относительно

⁴² Gontmaher E., Ross C. The Middle Class and Democratization in Russia // Europe-Asia Studies. 2015. Vol. 67. № 2; см. также: Colton T. Paradoxes of Putinism // Daedalus. 2017. Vol. 146. № 2.

⁴³ Hanson S. The Evolution of Regimes: What Can Twenty-Five Years of Post-Soviet Change Teach Us? // Perspectives on Politics. 2017. Vol. 15. № 2.

экономически благополучных постсоветских и посткоммунистических странах с жесткой государственной вертикалью, но и в развивающемся мире.

Сказанное имеет непосредственное отношение к ряду теоретических обобщений, распространенных в современной сравнительной политологии и политической науке в целом и касающихся логики взаимовлияния экономических, социальных и политических процессов. Как минимум полученные на постсоветском материале выводы ориентируют на более детальный и дифференцированный анализ политических результатов социально-экономической динамики.

Вторая существенная новация связана с аргументацией, относящейся к вопросу о возможностях и пределах *авторитарной модернизации*, который, в свою очередь, связан с ведущимися сегодня дискуссиями о современной модели авторитарного капитализма⁴⁴. Нужно при этом заметить, что многие постсоветские страны (а посткоммунистические – тем более) в целом уже в начале трансформаций находились в сравнительном отношении на относительно высоком уровне экономического и социального развития (прежде всего в плане индустриально-урбанистического потенциала, уровня образования, социального обеспечения и т. д.), однако фактически не имели традиций политической и рыночной конкуренции, плюрализма и участия. Важный результат проведенных на данном направлении исследований раскрывает критическое значение для дальнейшего модернизационного развития (особенно на постиндустриальном этапе) прежде всего политических реформ, политической конкуренции и участия, ограничения и ротации исполнительной власти, контроля над коррупцией, гражданских прав и прав собственности и др.⁴⁵ Хотя проанализированы отдельные «истории успеха», своего рода «очаги эффективности» (в частности, налоговая и бюджетная реформы в начале 2000-х), эти исследования показывают, что возможности эффективной стратегии авторитарной модернизации в постсоветских условиях крайне ограничены.

Эта линия анализа, кстати говоря, выводит нас еще на один существенный вопрос, имеющий не только теоретическое, но и немалое прикладное значение. Речь идет об ограничителях возможностей так называемого «*системного либерализма*» в условиях авторитаризма⁴⁶, когда расчеты на модернизацию при сохранении социально-политического статус-кво связываются с экономической и управленческой сферами и практически не затрагивают политику и общество. Политико-институциональные ограничители модернизации – включая характер воспроизводства власти, конкуренцию и участие, институты и правила игры – представляют собой также пока что не решенную дилемму, перед которой оказался сегодня российский либерализм – в его «системной» и «несистемной» вариациях, – нуждающийся в концептуальной и программной «перезагрузке». Важным направлением для дальнейших исследований на этом направлении мог бы также стать обстоятельный сравнительный анализ ограничителей посткоммунистического развития и современных реально существующих моделей авторитарного капитализма. Но в любом случае современная политическая динамика заставляет нас как минимум усомниться в надежде «эпохи-1989» на то, что процессы социально-экономической модернизации обязательно ведут к демократизации и установлению демократии.

⁴⁴ См., например: *Foa R. Modernization and Authoritarianism // Journal of Democracy. 2018. Vol. 20. № 3.*

⁴⁵ *Guriev S., Zhuravskaya E. Why Russia is Not South Korea // Journal of International Affairs. 2010. Vol. 63. № 3.* См. также: *Starodubtsev A. Federalism and Regional Policy in Contemporary Russia. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.*

⁴⁶ *Colton T. Paradoxes of Putinism // Daedalus. 2017. Vol. 146. № 2.* См. также: *Melville A. The Illiberal World Order and Russian Liberal // Dimensions and Challenges of Russian Liberalism: Historical Drama and New Prospects / R. Cucciolla (ed.). Cham: Springer, 2019.*

3. «ПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ»

Еще одна, третья и тоже очень важная, несостоявшаяся надежда тридцатилетней давности была связана с представлением о том, что главное в стратегии и тактике демократизации – это выбор и учреждение (трансплантация?) «правильных» институтов, обеспечивающих демократическое представительство и общее демократическое государственное устройство. Три десятилетия назад (и даже раньше) господствовало мнение, что выбор, казалось бы, проверенного временем *институционального дизайна*, апробированного в странах развитых демократий, – это залог успешных преобразований и в «новых» демократиях. В самом деле, прошлый европейский (и не только) опыт вроде бы подсказывал, что для этого нужна парламентская система, пропорциональные выборы, сильная оппозиция, регулярная ротация власти и др. Но и эти ожидания тоже не оправдались в целом ряде отношений.

Во-первых, во многих режимах, которые вначале воспринимались как «новые» демократии, включая прежде всего постсоветские (особенно среднеазиатские, но не только), возобладала давняя привычка к сильной централизованной власти и персонализму. Новые институты, если и вообще создавались, практически сразу стали перерождаться, а точнее – сразу формироваться как своего рода «*субституты*» (в терминологии наших политологов⁴⁷) и собственные *имитации* – партии, выборы, парламенты и проч. Но такие институты только в определенном смысле «плохие» или «недостойные». На самом деле они очень *функциональны* с точки зрения построенной системы именно как неэффективные. Они нужны именно в таком качестве для обеспечения стабильности и продолжения единовластия.

Во-вторых, в целом ряде «новых» и, казалось бы, успешных демократий эти вроде бы «правильные» институты никак не смогли воспрепятствовать поднявшимся в последнее время волнам популизма, ксенофобии и «ползучего» авторитаризма. Фактически мы сталкиваемся сегодня с *реабилитацией недемократических форм правления* – и не только в большинстве постсоветских стран, но и в ряде посткоммунистических стран, которые, как еще недавно казалось, ушли далеко вперед в своем институциональном развитии по пути к «нормальным» демократиям.

Эти обстоятельства выводят нас на некоторые достаточно серьезные сюжеты, важные с политической и теоретической точек зрения. Во-первых, опыт прошедших трех десятилетий заставляет значительно большее внимание уделять традиционной для сравнительной политологии проблеме *формальных* и *неформальных* институтов. В значительной степени это обусловлено концептуальными искажениями, возникающими при некритической трансплантации институциональных практик и категорий, сформировавшихся в «мейнстриме» современной политической науки и переносимых в постсоветский и посткоммунистический контекст. Однако проблема не только в заимствуемых и искажаемых концептах и практиках, но и во вмешивающихся реальных факторах: доминирующей роли инкумбента, неформальном влиянии групп интересов, факторе политической поляризации и др.⁴⁸ Различие формальных и неформальных институтов и практик, функционирующих как бы «по ту сторону» избранного институционального дизайна, приобретает в этом контексте едва ли не ключевое значение. Дэниэл Трейсман, продолжая и развивая эту логику на сегодняшнем российском материале, вообще вводит понятие двух параллельных моделей принятия решений: «System 1», в рамках

⁴⁷ Petrov N. The Political Mechanics of the Russian Regime: Substitutes Versus Institutions // Russian Politics and Law. 2011 Vol. 49. № 2.

⁴⁸ См.: Geddes B. A Comparative Perspective on the Leninist Legacy in Eastern Europe // Comparative Political Studies. 1995. № 28; Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions // World Politics. 1998. Vol. 50. № 2; Frye T. In From the Cold: Institutions and Causal Inference in Postcommunist Studies // The Annual Review of Political Science. 2012. № 15.

которой решения принимаются через формальные институты, и «System 2» – решения через неформальные институты⁴⁹.

Во-вторых, существенной новацией, которая открывает ряд перспектив и для сравнительной политологии в целом, стал упомянутый выше концепт «*субститутов*», связанный со многими обозначенными сюжетами: формальными и неформальными институтами, институциональной мимикрией и др. Здесь важна как общая концептуальная сторона вопроса (различение выхолащенных в своем реальном содержании институтов: партий, выборов и т. д., с одной стороны, и их реально функционирующих «*замещений*» – с другой), так и подтверждающий ее эмпирический анализ (на материале конкретных «субститутов», например – применительно к России – Общественной палаты, общественных приемных, системы кадрового резерва, новой номенклатурной системы и проч.). Эта исследовательская линия, намеченная на российском материале, ждет своего развития в более широком сравнительном контексте и может внести свой вклад в современную политическую науку. В частности, перспективным мог бы стать более широкий сравнительный анализ динамики институтов и «субститутов», включая «субституционализацию» существующих институтов и потенциально возможную институционализацию «субститутов» на материале всех посткоммунистических стран.

Третий момент, заслуживающий внимания, – это проблема так называемых «промежуточных» (или *transitional*) институтов, которая была поднята в постсоветских и посткоммунистических исследованиях, но опять-таки имеет эвристический потенциал и применительно к широкому кросс-национальному сравнительному анализу. Логика вопроса такова: поскольку успешная трансплантация заимствуемых институтов, считающихся апробированными «образцами», в силу многих причин фактически невозможна «здесь и сейчас», как же тогда осуществлять постепенное движение в желаемом направлении? Как, иными словами, добиться максимально возможного институционального качества?

Сергей Гуриев⁵⁰ ставит этот вопрос и в самом общем плане намечает траектории постепенного институционального улучшения в соответствии с имеющимися возможностями. Нужно подчеркнуть, что речь здесь идет прежде всего об административных институтах государственного управления, что, по сути, созвучно распространенным аргументам о «*good enough governance*». При этом за скобками отчасти остается поднятая нами выше проблема политических условий постиндустриальной модернизации, как и то, что связано со встроеными ограничителями для современного «системного либерализма».

Четвертый сюжет, на который в данном контексте стоит обратить внимание, – это совокупность проблем, связанных с формированием и развитием новых *партий и партийных систем*. Современные исследования дают в этом отношении богатый эмпирический материал и подводят к ряду существенных теоретических обобщений. Едва ли не первая новация здесь – существенное переосмысление классической модели «размежеваний» (*cleavages*), которая в свое время была предложена Сеймуром Липсетом и Стейном Рокканом на материале анализа партийного строительства и консолидации («отвердевания») партийных систем, прежде всего в Северной Европе. Многие авторы и раньше высказывали сомнения в универсальности этой модели, но постсоветские и посткоммунистические исследования совершенно определенно подтверждают эти опасения⁵¹. Скорее, речь должна идти о выявлении иных «размежеваний» (если вообще рассуждать в этой терминологии), порожденных новым контекстом,

⁴⁹ The New Autocracy. Information, Politics, and Policy in Putin's Russia / D. Treisman (ed.). Washington, DC: Brookings Institution Press, 2018.

⁵⁰ Guriev S. How Transitional Institutions Could Transform Russia's Economy. 2017; <http://carnegie.ru/commentary/74790>.

⁵¹ См.: Kitschelt H. Formation of Party Cleavages in Postcommunist Democracies: Theoretical Propositions // Party Politics. 1995. Vol. 1. № 4; Makarenko B. The Role of Elections in Democracy // Democracy in a Russian Mirror / A. Przeworski (ed.). New York: Cambridge University Press, 2015.

в том числе глобальным. В этом – концептуальный вызов, в том числе и для всей современной сравнительной политологии.

Проводимые исследования партий и партийных систем в постсоветских/посткоммунистических «новых демократиях» и «новых автократиях» вскрывают и другие их существенные особенности, важные для политической науки. В частности, это относится к двойственному феномену *доминантных партий*, достаточно распространенных в современной политической жизни, особенно применительно к режимам персоналистского типа. С одной стороны, полученные результаты демонстрируют наличие специфического политического равновесия в виде взаимных обязательств правителя и элит по отношению к доминантной партии. С другой стороны, как оказывается на практике, правитель в таких режимах способен успешно обходиться вообще без собственной идентификации с какой-либо доминантной партией. Либо же он может использовать ее скорее как инструмент контроля над элитами, нежели как способ формирования и цементирования элитной коалиции⁵².

Таким образом, три прошедших десятилетия дают нам множество свидетельств того, что, по видимости, «правильные» трансплантируемые (и имитируемые) институты отнюдь не являются панацеей для проблем демократизации и построения эффективных демократических порядков. Институты, безусловно, «имеют значение» (если воспользоваться известным выражением), однако их реальные политические эффекты определяются не столько формальным институциональным дизайном, сколько всем контекстом их формирования и функционирования. И это еще один важный урок несбывшихся надежд «эпохи-1989».

4. «ОДНОВРЕМЕННОСТЬ РЕФОРМ»

Последовательность посткоммунистических реформ – т. е. политическая демократизация, переход к рынку, строительство новой государственности, формирование новой идентичности и др. – изначально были серьезной дилеммой для реформаторов «третьей волны». Как совместить эти задачи и в каком порядке приступать к ним? Теория, в том числе вытекающая из относительно успешных прецедентов в разных странах, шедших по пути демократизации (включая страны третьего мира), вроде бы говорила о желательности и даже эффективности одновременной демократизации, перехода к рынку и создания новых государственных институтов. Успешных примеров такой одновременности (как, скажем, в случае «шоковой терапии» в Польше) оказалось, однако, не так уж много.

По сути, эта политическая и теоретическая дилемма так и осталась нерешенной. Скорее, подтверждается иная логика. После завоевания политической и экономической монополии и закрепления позиций того же упомянутого выше «царя горы» дальнейшие реформы становятся ненужными для «победителей» и даже опасными для складывающейся патрон-клиентской и клановой системы отношений. Особенно когда главный принцип такой системы – экономическая и политическая рента и приватизация государства и его институтов (что в литературе называют *state capture*, «захватом государства»). Коррупция в такой ситуации работает не как «смазка», а как «клей», скрепляющий систему, которая сопротивляется дальнейшим реформам – хоть одновременным, хоть последовательным.

Здесь, однако, возникает очень непростая с точки зрения политики и теории проблема. Все более важное место в политических дискуссиях и политологических исследованиях в последнее время занимают вопросы, связанные с государственным строительством, государственной состоятельностью (*state capacity*), качеством институтов государственного управления, их взаимоотношений с режимными характеристиками и др. В значительной степени это

⁵² Reuter O. J. *The Origins of Dominant Parties: Building Authoritarian Institutions in Post-Soviet Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

специфическое отражение общего тренда в мировой политической науке последних десятилетий – «возвращения государства» как аналитического фокуса. Начиная с 1980-х годов, после предшествующих двух десятилетий с преимущественным акцентом на теоретические и методологические вопросы, связанные с политическими системами и их функционированием, государство, государственность и государственная состоятельность вновь оказываются в центре интенсивных дискуссий.

Такое смещение аналитического фокуса было связано с разнообразными факторами, в том числе глобального политического характера: с обостряющимися проблемами качества управленческих институтов и социально-экономического развития, с распространением феномена «несостоятельных» государств, со сложностями демократизации и государственного строительства в развивающихся странах, с распадом коммунистической системы и становлением новых независимых государств, в том числе на постсоветском пространстве.

Применительно к постсоветским и посткоммунистическим странам в центре этой проблематики оказался широкий спектр вопросов. От специфической роли государства как доминирующей и неподконтрольной инстанции, подминающей общественные начала во многих странах «третьей волны», и до более общих концептуальных сюжетов, особенно значимых для кросс-национального сравнительного анализа. Среди обсуждаемых проблем: государственное строительство и государственная состоятельность, последовательность реформ, национальная идентичность, «похищение государства», «плохое/недостойное правление», качество институтов и государственная состоятельность и др.

Одной из важнейших в теоретическом и практическом плане является проблема государственного строительства – но не «с нуля», а на обломках старых государственных структур, институтов и институциональных традиций. Здесь очевидная связка с проблемой «Sequencing», одновременности или последовательности национального строительства, рыночных преобразований и демократических реформ, которая в настоящее время активно обсуждается в литературе по постсоветским и посткоммунистическим трансформациям и даже в более широком сравнительном контексте. Что сначала: крепкая государственность и жесткая вертикаль управления («Stateness first»⁵³) – или демократизация? Или возможно одновременное продвижение по этим направлениям – «(Re)building of the ship of state at sea»?⁵⁴

Опыт трех десятилетий, прошедших с начала «эпохи-1989», дает достаточные основания для того, чтобы как минимум сомневаться в первом выборе, приоритет которого – сильная государственность независимо от режимных характеристик. «Сильная» в данном случае фактически означает «силовая». Выход из «дилеммы одновременности» за счет и в ущерб одновременной демократизации приводит к закреплению авторитарного тренда, несменяемости власти и низкого институционального качества.

Как раз здесь посткоммунистические и постсоветские исследования дают ценный материал для интенсивно идущей сегодня в сравнительной политологии дискуссии о *взаимосвязи state capacity и политического режима*. Распространенная позиция может быть отражена в основывающейся на ряде кросс-национальных исследований модели так называемой «J-curve»⁵⁵. Ее смысл в аргументе, что государственная состоятельность, отражаемая в качестве управленческих институтов государства, наиболее низкая в гибридных и переходных режимах, наиболее высокая в демократиях и относительно высокая в автократиях (часто приводимый характерный пример – Сингапур). Однако эмпирический анализ на материале постсоветских и посткоммунистических стран раскрывает отнюдь не «J-curve», а совершенно прямую линей-

⁵³ Moller J., Skaaning S.-E. *Stateness First? // Democratization*. 2011. Vol. 18. № 1.

⁵⁴ Bratton M., Chang E. *State Building and Democratization in Sub-Saharan Africa: Forwards, Backwards, or Together? // Comparative Political Studies*. 2006. Vol. 39. № 9.

⁵⁵ Back H., Hadenius A. *Democracy and State Capacity: Exploring a J-Shaped Relationship // Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. 2008. Vol. 21. № 1.

ную зависимость, – иными словами, государственная состоятельность и общее качество институтов напрямую связаны со степенью демократичности политического режима⁵⁶.

Отсюда вытекает целый ряд вопросов общего концептуального характера, в том числе: *в чем польза «плохих институтов» для автократа*, можно ли выйти из ловушки «bad governance» при сохранении недемократического правления, как низкое управленческое качество, в том числе коррупция и «приватизация» государства элитными группами, влияет на выживание и стабилизацию авторитаризма? Анализ экономических, социальных и политических процессов в посткоммунистических и постсоветских странах раскрывает механизмы воспроизводства «плохих институтов» и объясняет отсутствие у новой де-факто номенклатуры мотивов для продолжения реформ. Здесь, в частности, известная логика «Winners take all»⁵⁷ получает свое развитие через раскрытие взаимной обусловленности извлечения экономической и политической ренты в модели «Царя горы» («King of the hill»), о которой выше уже шла речь. Выясняется также, что высокие уровни государственной состоятельности – отнюдь не обязательное условие устойчивости авторитарного режима. Стабильность такого режима может зависеть от иных факторов: распределения ренты, предоставления базовых социальных обязательств, кооптации потенциальной оппозиции, мобилизации общественной поддержки и др.

5. «ЗАКАТ АВТОРИТАРИЗМА»

Это вплотную подводит нас к пятой несбывшейся надежде «эпохи-1989» – надежде на то, что авторитаризм побежден триумфальным шествием глобальной демократизации и безвозвратно остался в прошлом.

В ту романтическую и оптимистическую пору, тридцать лет назад, существовала едва ли не всеобщая уверенность, что время автократий и диктатур ушло в прошлое, что теперь наступает эпоха глобальной демократизации. Хотя, строго говоря, теория «третьей волны» все же допускала, пусть и гипотетически, возможность авторитарного реверса, но тогда, в обстановке эйфорического оптимизма, это всерьез все же не рассматривалось – ни политиками, ни учеными. Новая консервативная волна, подъем авторитарных сил и тенденций не только в России и других постсоветских странах, но и в «старых» демократиях (в Австрии, Голландии, Швеции, Италии, Греции, Франции, Германии и др.), и в «новых» (в Польше, Венгрии, Хорватии и др.) – все это стало еще одним практическим и теоретическим разочарованием в оптимистических надеждах «эпохи-1989».

Сейчас стали даже говорить, что авторитаризм – это якобы «генетический код» некоторых стран и народов, в том числе и России, «наследницы империи Чингисхана». Да еще и призывают увидеть в этом наше – российское – цивилизационное преимущество. Ясно, что авторитаризм никуда не ушел, он оказался вполне крепким, он даже набирает силу и в развивающемся мире (посмотрим хотя бы на Египет, Турцию, Малайзию, не говоря уже о характерных африканских странах).

Важно, что речь идет не только о выявившейся живучести и прочности традиционных автократий, но и о появлении их совсем новых разновидностей. В том числе и в результате выявившейся жизнеспособности так называемых «гибридных» режимов, включая постсоветские, которые оказались не временными остановками в ходе демократического транзита, как когда-то думалось, а, наоборот, сами стали демонстрировать вполне устойчивую авторитарную динамику.

⁵⁶ Melville A., Mironyuk M. «Bad Enough Governance»: State Capacity and Quality of Institutions in Post-Soviet Autocracies // Post-Soviet Affairs. 2016. Vol. 32. № 2.

⁵⁷ Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions.

Вопрос о вариациях постсоветского авторитаризма, о его особенностях, о порождающих его факторах и последствиях поднимался уже с начала 1990-х годов⁵⁸. Постепенно он стал превращаться в один из центральных фокусов сравнительных исследований, самым тесным образом связанный с общим вектором и доминирующими трендами в современной сравнительной политологии, условно говоря – от *comparative democratization* к *comparative authoritarianism*.

С одной стороны, анализ современного, прежде всего постсоветского, авторитаризма основывается на базовых теоретико-методологических заделах, наработанных в соответствующих областях современной политической науки, в том числе на обширном сравнительном материале. В данном случае общие концептуальные модели «сравнительного авторитаризма», как формальные, так и наработанные и апробированные эмпирически, продуктивно используются в качестве теоретико-методологических рамок и оснований для конкретных исследований. С другой стороны, получаемые на материале постсоветских и посткоммунистических стран эмпирические результаты и общие выводы важны для подкрепления и развития теории, в том числе в уточнении типологии политических режимов, сравнении различных стратегий диктаторов, раскрытии феномена гибридных режимов, понимании факторов стабильности и воспроизводства авторитаризма, моделей авторитарной легитимации, особенностей так называемого «успешного» авторитаризма и др.

Вклад в теорию в данном случае связан в том числе с развитием *типологии современных политических режимов*. Характерное для современных работ повышенное внимание к «оттенкам» авторитаризма позволяет преодолеть не всегда точную «черно-белую» дихотомию «демократия/автократия», но при этом может быть чревато и опасностью стать заложником «прилагательных», то есть умножать эпитеты, а не уточнять концепты. Реальное многообразие современных режимных разновидностей не может не вызывать сомнений в применимости классических типологий, даже с уточнениями Хуана Лица и Альфреда Степана: демократия, авторитаризм, тоталитаризм (плюс посттоталитаризм и султанизм).

Проблема, однако, в том, чтобы от многообразия «прилагательных» («дефектные», «делегативные», «нелиберальные» демократии и «конкуренционные», «соревновательные» «электоральные» автократии и т. п.) перейти к теоретически обоснованным и эмпирически проверенным понятиям. В ряде случаев в постсоветских исследованиях воспроизводится категория «гибридных» режимов, непосредственно заимствованная из работ современных политологов-компаративистов. В последнее время более распространенной становится категория «*электорального авторитаризма*», предложенная ранее в более обширном сравнительном контексте и получившая с тех пор широкое признание в академическом сообществе, занимающемся вариантами современного авторитаризма. Другая распространенная в литературе категория – «*конкуренционный авторитаризм*», которая тоже продуктивно применяется в анализе политики в России и других странах бывшего СССР. В постсоветских исследованиях нет сегодня недостатка и в иных понятийных экспериментах: «*patronalism*» and «*patronal politics*», «*neo-patrimonialism*», *modern forms of personalistic regimes* и т. д.

Но одна новация важна в сравнении с предшествующей литературой, посвященной «третьей волне» демократизации. Все тот же практически классик Хантингтон, например, исходил из того, что гибридные режимы (которые он, следуя образам Нового Завета, описывал как *house divided*) по своей природе неустойчивы и должны эволюционировать в сторону либо демократии, либо авторитаризма. Постсоветский и посткоммунистический опыт скорее свидетельствует о другом – «гибридный» авторитаризм может быть примечательно устойчивым и воспроизводящимся. Причем, как показывает Генри Хейл, таким «гибридам» могут быть

⁵⁸ Roeder Ph. G. Varieties of Post-Soviet Authoritarian Regimes // Post-Soviet Affairs. 1994. Vol. 10. № 1.

свойственны своего рода «циклические», повторяющиеся траектории – от робких движений в сторону демократизации до авторитарных откатов⁵⁹.

Другая важная и относительно новая тема, к которой, наблюдая нынешние политические реалии, все больше обращаются исследователи «постсоветизма» и «посткоммунизма», как и компаративисты в целом, – это *стабилизация и легитимация* современного авторитаризма, в том числе в его «гибридных» формах. Россия и другие постсоветские и посткоммунистические страны дают в этом отношении богатый эмпирический материал для сравнительного анализа и обобщений. Понятно, что сохранение статус-кво – это главная задача для любого автократа. Новизна здесь, пожалуй, в ряде моментов. Во-первых, это отношение к стабильности как к статике, как, условно говоря, «не-развитию» (какой бы ни была риторика официоза). Во-вторых, уже отмеченное выше отсутствие у условного «Царя горы» мотивов для реформ, угрожающих успешному извлечению ренты, что, кстати говоря, подрывает саму идею «успешного авторитаризма» применительно к рассматриваемой проблематике. В-третьих, это стабилизация за счет ослабления формальных институтов. В-четвертых, традиционные и новые приемы легитимации – от личной харизмы и эффектов экономического благополучия в благоприятных для извлечения и раздела ренты условиях до идеологической мобилизации в условиях «gally 'round the flag» и так называемого «информационного авторитаризма»⁶⁰.

Суммируя, еще раз подчеркну, что изучение вариаций авторитарных режимов и режимных траекторий в постсоветских и посткоммунистических странах в контексте современных национальных, региональных и глобальных трендов представляет собой крайне перспективное направление – как с точки зрения сегодняшней политики, так и с точки зрения теории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что же в итоге – драма несбывшихся ожиданий? Да, не без этого, но все на самом деле намного сложнее. С одной стороны, очевидно: есть вполне убедительные свидетельства того, что оптимистические ожидания «эпохи-1989» (и не только те пять, о которых шла речь выше, но и многие другие, относящиеся, например, к динамике массового сознания в посткоммунистических и постсоветских обществах, к формированию системы представительства групповых интересов, к новой структуре мировой политики и международных отношений и др.) не стали реальностью. Но, с другой стороны, это отнюдь не дискредитация тех могучих идей и целей, которые тридцать и более лет назад вдохновляли реформаторов – политиков и теоретиков. Нынешнюю критику демократии и «похороны» либерализма, как и консервативную апологетику авторитаризма, необходимо воспринимать и понимать в более широком и динамичном историческом контексте. Демократия, как и либерализм, всегда жила и развивалась, преодолевая собственные кризисы, идейные и политические. *Кризис* в этом смысле – *естественная фаза развития*, а вовсе не эпитафия.

«Демократии взяли паузу, но не все так трагично, как кажется» – такой вывод делает американский политолог Дэниэл Трейсман на основе сравнительного анализа современных мировых политических трендов⁶¹. Разнообразные авторитетные межстрановые исследования показывают, что, несмотря на нынешний авторитарный крен, демократия в современном мире остается не только нормативным идеалом для значительной части активного населения, но и политической реальностью применительно к большинству стран мира. Так, например, один

⁵⁹ Hale H. E. *Patronal Politics. Eurasian Regime Change Dynamics in Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2015.

⁶⁰ The New Autocracy. Information, Politics, and Policy in Putin's Russia / D. Treisman (ed.). Washington, DC: Brookings Institution Press, 2018.

⁶¹ <https://republic.ru/posts/91992>.

из наиболее известных и авторитетных проектов по сравнительному изучению динамики демократических и авторитарных режимов V-Dem (Varieties of Democracy) в своем докладе за 2019 год показывает, что, несмотря на сегодняшний подъем авторитаризма, большинство населения мира (55%), живет в демократических условиях (99 стран)⁶². И это по-прежнему, начиная с 1970-х годов, повышающаяся тенденция, несмотря на некоторый спад по сравнению с «эпохой-1989». Демократия по сей день остается наиболее эффективным политическим режимом – в том числе с точки зрения экономического развития, эффективности государственных институтов и уровней человеческого капитала.

В заключение нельзя не упомянуть еще об одном новом факторе, влияние которого на рассматриваемую нами проблематику пока трудно прогнозировать. Это нынешняя пандемия COVID-19 и связанная с ней экономическая рецессия, а также их политические эффекты. Понятно, что все эти драматические события и перемены, случившиеся в мире в 2020 году, никак не повлияют на надежды и ожидания 30-летней давности, однако могут существенным образом сказаться на современных массовых настроениях и политических практиках – демократических и авторитарных.

Усиление состояния общей *неопределенности* в мире в целом и в отдельных странах, включая посткоммунистические, связано сегодня в том числе с противоречивыми трендами в качестве возможных политических, экономических, ценностных и иных последствий пандемии. С одной стороны, происходит рост роли государства в регулировании общественных процессов, разочарование в магии «свободного рынка», усиление неравенства внутри государств и между государствами, дальнейшая эрозия существующих институтов, включая представительные, дискредитация самой веры в прогресс, глобализацию и способности человека. С другой – примеры укрепления самоорганизации и самоограничения в человеческих сообществах ради индивидуального и коллективного блага, понимание важности и необходимости реформирования статус-кво, приводящего к таким угрозам для выживания, и др.

Остается надеяться, что и этот новый кризис, связанный с пандемией и ее последствиями, когда-нибудь останется преодоленной фазой развития, временной остановкой на пути общего движения – не к «несбывшимся надеждам», а к великим целям «эпохи-1989».

⁶² Democracy Facing Global Challenges. V-Dem Institute, University of Gothenburg, 2020.

ДРАМА ТРАНЗИТА КАК ИСТОЧНИК ЕГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ

Георгий Сатаров (Фонд ИНДЕМ, Москва)

ПРЕАМБУЛА

Примерно 35 лет назад в древнем русском городе Суздале под водительством академика Ковальченко происходила очередная конференция по применению математических и компьютерных методов в истории. Меня на том научном форуме привлек доклад Виктора Сергеева, представлявшего Институт США и Канады. Он рассказывал о результатах сравнительного исследования текстов речей политических лидеров СССР и США. В ходе исследования реконструировалась когнитивная структура текстов, что позволяло сопоставлять обобщенные модели мира в представлениях лидеров двух стран. По словам докладчика, выражавшегося предельно доступно, чтобы быть понятым слушателями с разным научным бэкграундом, было установлено, что представители руководства СССР мыслили категориями процессов. Эти процессы могут быть прогрессивными, ведущими к неизбежной победе коммунизма в мировом масштабе (например, «строительство коммунизма в СССР»), могут быть сопутствующими (вроде «освобождение народов Азии и Африки от колониального гнета» или «неуклонное загнивание Запада»), а могут быть и совершенно регрессивными (скажем, «наращивание ядерного арсенала агрессивным блоком НАТО»). Иное дело американские политики. Их образ мира скорее напоминает болото с отдельными кочками, с переходами с кочки на кочку, когда нужно постоянно прощупывать – кочка ли это или просто пучок травы на опасной трясине.

Норберт Элиас прекрасно продемонстрировал, как процесс цивилизации продвигается сверху вниз, от элит к простому народу⁶³. Это равным образом касается как появления носовых платков, так и неких общих представлений. Я неслучайно приводил выше стандартные формулировки государственной советской пропаганды, в густом киселе которой долгие годы жили советские граждане. Поэтому если бы Виктор Сергеев в конце 1980-х годов повторил свое интересное исследование не на элитах, а на обычных жителях СССР, то он вполне мог обнаружить мышление процессами у последних. Только оно, скорее всего, обладало бы стандартной метафоризацией колеи или железнодорожного полотна («Наш паровоз, вперед лети! В Коммуне остановка...»). А сочетание острого желания перемен с привычным страхом перед ними могло актуализироваться посредством следующей метафоры. Несется под откос, напрямки, под гору тяжелый состав, груженный танками и лесом, и к нему там и сям прицеплены теплушки с людьми. А по встречному пути неторопливо движутся в горку комфортабельные поезда: извилисто, иногда даже немного спускаясь, принаравливаясь к рельефу местности, но неуклонно туда, в горку. И вот люди в теплушках смотрят на эти красивенькие поезда и думают, как же им прыгнуть с этого поезда и вскочить на подножку тех, что ползут вверх.

Эта метафора может показаться натянутой, но все, что происходило в России с момента перестройки до примерно конца 2000-х годов, совершенно монтируется с ней. Ведь, как считалось, главное – это выбор пути. То есть были, конечно, мысли, что достаточно подремонтировать вагоны и паровоз, а может, даже сменить тягу, и машиниста хорошо бы самим выбирать, но главное – сесть на правильный поезд и с правильным машинистом. Тут, конечно, просмат-

⁶³ Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Изменение в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 1–2.

риваются следы патерналистского сознания. Барин может быть плохим или хорошим. Тут как повезет. А уж если можно самим выбрать... Это представление о правильной колее было укоренено в массовом сознании чуть ли не на субмолекулярном уровне. Оно преодолевалось и преодолевается до сих пор только в процессе смены поколений.

Описанный выше феномен – всего лишь один из примеров анамнеза той драмы, которой являлся российский транзит с его уникальными особенностями, несопоставимыми ни с одной другой транзитной страной. И я начал именно с такого свойства российского транзита, с тем чтобы дальше говорить о более общих вещах, которые были свойственны различным странам.

ЧТО ВДОХНОВЛЯЛО ТРАНЗИТ?

Первый тривиальный ответ на такой вопрос кажется очевидным: желание перемен. Но это не так просто. Расселение сапиенсов из Африки по всему земному шару было движимо не страстью к переменам, а стремлением выжить. Глядя из сегодняшнего далека, мы фиксируем смены хозяйственных укладов и технологическую эволюцию, а несколько позже – и эволюцию институтов. Но для современников тех давних изменений они были невидимы и неосязаемы в силу их крайне низких, по сегодняшним меркам, темпов. Если мы вспомним, что нас интересуют более всего институциональные изменения, то подавляющая часть известной нам письменной истории нашего вида, вместе с тем, что мы знаем о примитивных племенах, свидетельствует только о страхе перед переменами. И это было оправданным эволюционно, ибо жесткая корка примитивной социальности (табу, ритуалы и т. п.) компенсировала те эволюционные дефекты, которые были свойственны сапиенсам и стали расплатой, наряду с повышенной агрессивностью по отношению к себе подобным⁶⁴, за способность фантазировать и различать прошлое, настоящее и будущее. Вместе с языком эти способности предков запустили процесс культурной эволюции, а это вынудило, уже в рамках этой эволюционной среды, с другими скоростями и иными свойствами переходить в стратегии выживания от стабильности институтов к их адаптационной изменчивости.

До эпохи Просвещения этот процесс обеспечивался не осознанной в культуре работой институтов хаоса, замаскированных различными способами⁶⁵. Вдохновленный достижениями Просвещения в сфере овладения материальной природой, человеческий разум, не отразив существо предшествующей социальной эволюции «естественного толка», вознесся до идеи конструирования идеального социального порядка и правильных институтов, ставя, конечно, во главу угла всеобщее благо и социальную справедливость. Скорая победа на этом славном пути не вызывала сомнения. Ведь, овладевая материальной природой, человек имел дело с неживой материей. А тут объектом воздействия были разумные существа, с божественной искрой в душе. И если им объяснить их выгоду, как же можно сомневаться в успехе? Иными словами, возможность, осуществимость и беспрепятственный успех того, что было названо позднее «социальной инженерией», сомнениям не подлежали.

Но не следует подозревать человеческий род в скудоумии. Современник первых социальных заблуждений эпохи Просвещения, один из гениев шотландского Просвещения Адам Фергюсон предупреждал: «Свободолюбивый народ оказывается в состоянии лучше следовать естеству, чем любой государственный департамент. Когда в роли знатоков этого вопроса выступают суверены или разработчики проектов, лучшее, что они могут сделать, – это проявить осторожность и не нанести вреда тем интересам, которым не в состоянии существенно спо-

⁶⁴ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / Пер. с англ. М.: Аcaademia-Центр; Медиаум, 1995. С. 87.

⁶⁵ Сатаров Г. А. Как возможны социальные изменения: Обсуждение одной гипотезы // Общественные науки и современность. 2006. № 3. С. 23–39.

собствовать, а также не разрушать того, что не в состоянии восстановить». И дальше: «Даже имея в отношении человечества наилучшие намерения, мы склонны думать, что благосостояние людей зависит не от их наклонностей и талантов, а от того, насколько послушны они тому, что предназначали мы для них ради их же блага»⁶⁶.

Сто лет спустя эстафету подхватывает Джон Милль: «Никто не имеет права принуждать индивидуума что-либо делать или что-либо не делать на том основании, что от этого ему самому было бы лучше, или что от этого он сделался бы счастливее, или, наконец, на том основании, что, по мнению других людей, поступить известным образом было бы благороднее и даже похвальнее»⁶⁷. Еще через сто лет к здравому смыслу современников пытается пробиться лауреат Нобелевской премии Фридрих Август фон Хайек, доказывая в своих сочинениях, что спонтанный социальный порядок систематически оказывается эффективнее высокоумных гигантских проектов⁶⁸. И наконец, в конце XX века эта важная линия человеческой мысли концентрируется в книге Джеймса Скотта⁶⁹, а само культурное явление получает название «высокий модернизм». Поскольку эта книга более известна современным читателям, я не беру на себя труд пересказывать ее содержание или приводить обильные цитаты.

Важно отметить другое: интеллектуальная традиция от Фергюсона к Скотту постепенно завоевывает позиции в академических кругах, но еще не заняла достойного места в современном массовом сознании. И это серьезно. Больше двухсот лет царит идея о простоте управления социальными процессами, несмотря не только на существование альтернативной интеллектуальной линии, представленной более чем достойно, но и вопреки постоянному практическому опровержению этой идеи, более чем убедительному, а нередко – трагическому. Ровно это и отразилось на множестве проектов международных финансовых организаций, взявшихся за благородное дело помощи разным странам переходить от запущенных экономик к эффективным. Именно на упрощенном представлении об управляемости социальными изменениями расцвел «вашингтонский консенсус». И миф о беспроблемной управляемости равным образом вдохновлял как советников от международных организаций, так и местных экспертов и политиков.

ПИР ЛЕГИЗМА

Итак, благотворный транзит мыслился как институциональное переоборудование – ремонт одних институтов и введение в действие недостающих. В связи с этим возникают два вопроса. Первый – как при этом мыслится институт; второй – что значит внедрить его или отремонтировать. Ответы на два эти вопроса фактически сливались в один. Институт – это набор формальных норм, связанных с конкретной сферой регулирования, а метод достижения целей конкретных программ транзита – принятие правильных законов. Логика здравого смысла, лежащая в основе такого подхода, очевидна. Первое: видимое различие в наборах формальных институтов в странах – «донорах» правильных институтов и в странах – «реципиентах» этих институтов, в которых реализуются программы транзита. Видимое различие подталкивает к выводу, что именно это и объясняет различие в социальных и экономических результатах. А отсюда и метод «лечения» – принятие «правильных» законов. Виднейшие экономисты полагали, что воздействие правильных законов очевидно: новые законы посте-

⁶⁶ Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2000. С. 211–212, 371.

⁶⁷ Милль Дж. С. О свободе // Милль Дж. С. Утилитарианизм. О свободе / Пер. с англ. СПб.: Издание книгопродавца Перевозникова, 1900. С. 209.

⁶⁸ Хайек Ф. А. фон. Пагубная самонадеянность / Пер. с англ. М.: Новости, 1992; *Он же*. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом / Пер. с англ. М.: ОГИ, 2003.

⁶⁹ Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни / Пер. с англ. М.: Университетская книга, 2005.

пенно влияют на изменение неформальных аспектов социального регулирования, подтягивая их к формальным нормам. Фактически такой точки зрения придерживался Дуглас Норт, утверждая, в частности, что «в основе неформальных ограничений лежат формальные правила»⁷⁰.

Такая логика – от ясных различий к простым методам их преодоления – была присуща многим проектам в духе высокого модернизма. Один из них, мало известный, описали социальные психологи Ли Росс и Ричард Нисбетт⁷¹. Как рассказывают – в довольно ироничных тонах – авторы, в 1950-х и 1960-х в США реализовывался проект расселения неблагополучных кварталов: «Берем городской квартал, застроенный осыпающимися трех- и четырехэтажными многоквартирными домами, и переселяем живущих в них людей в одну двадцатиэтажную башню, которую строим в центре квартала, превратив освободившееся место в детские площадки и парки. После этого садимся отдыхать, пожиная социальные плоды, которые обязательно должно принести подобное „усовершенствование“ среды обитания».

А вот и результат проекта: «По прошествии 20 лет после этого смелого, но злополучного вмешательства в жизнь бедняков правительство приступило к сносу построенных башен. Финансовые издержки этого безумия исчисляются сотнями миллиардов долларов. С точки же зрения человеческого страдания издержки подсчету не поддаются». Трагедия состояла в том, что в гигантских домах («бетон-стекло-металл») жизнь была, конечно, комфортнее, но рушилась неформальная сеть внутреннего социального контроля, которая формировалась в старых и грязных небольших домах, соразмерных человеку, и в которых все всех знали. Разрушение этой системы резко усилило все социальные девиации, которые по замыслу гигантского проекта должны были быть снижены.

Легистский подход к ремонту формальных институтов как методу транзита и приведенный Россом и Нисбеттом пример имеют некий общий знаменатель. Немало институционалистов рассматривают принятие законов как некое внешнее воздействие на некоторую социальную среду. Обобщая, можно говорить о внешнем воздействии на любую «живую» систему, т. е. сложную, адаптивную, самоорганизующуюся. Два корифея кибернетики второго порядка – чилийские биологи Умберто Матурана и Франсиско Варела – предложили следующий принцип: «Внешние воздействия на живую систему не инструктивны»⁷². Иными словами: такие системы реагируют на внешние воздействия в соответствии со своим внутренним устройством. Может показаться удивительным, но даже тексты формальных законов не обязательно инструктивны для соответствующей сферы социальных отношений⁷³. Любопытно, что, не апеллируя к кибернетике второго порядка, Дуглас Норт развивает в той же работе сходные идеи относительно различных реакций обществ с разной социальной средой и предшествующей институциональной динамикой на одни и те же внешние воздействия. В одном случае таким воздействием оказываются общие фундаментальные изменения в структуре цен, а в другом случае – принятие почти тождественных конституций. В обоих случаях сходное внешнее воздействие не ведет к конвергенции социальных порядков; напротив, продолжается расхождение траекторий развития.

Стандартный набор мер Вашингтонского консенсуса вместе с легистским подходом к ремонту институциональной среды стали в России сутью очередного транзитного проекта в конце прошлого века. Но в нашей стране он столкнулся с рядом общеизвестных проблем, порожденных прежде всего длительностью большевистского эксперимента. Россия не была,

⁷⁰ Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 58.

⁷¹ Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии / Пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 333–334.

⁷² Матурана У., Варела Ф. Древо познания: Биологические корни человеческого понимания / Пер. с англ. М.: Прогресс-Традиция, 2001.

⁷³ Сатаров Г. А. Полицейская реформа между «что» и «как» // Отечественные записки. 2013. № 2 (53). С. 244–259.

впрочем, единственной страной, в которой серьезные реформаторские усилия не дали ожидаемого результата. Накопление негативного опыта привело к неизбежному: в 2011 году на совместном заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка Доминик Стросс-Кан торжественно объявил о несостоятельности и похоронах Вашингтонского консенсуса. Это заявление подкреплялось объективными данными статистики. С 1965 по 1995 год МВФ вел транзитные проекты с помощью Вашингтонского консенсуса на территории 89 государств. К 2010 году 48 из них оставались примерно в такой же экономической и социальной ситуации, как и до помощи МВФ, а в 32 – ситуация ухудшилась. В 80 из 89 стран этот подход не дал положительного результата и в более чем трети случаев дал негативный результат. Пир легизма кончился, но ощущения сытости не возникло.

Считаю нужным отметить два обстоятельства. Первое. Поддержка интеллектуалами проектов высокого модернизма имеет ясное объяснение. Поскольку высокомодернистские проекты имели научное обоснование, интеллектуалы становились держателями монопольного ресурса под названием «истинное знание», которое повышало их социальный статус. Кроме того, появлялась возможность конвертации интеллектуального ресурса во властный и иные привлекательные формы. Второе. Поразительно, что опора высокомодернистских проектов на науку имела абсолютно антинаучный характер. Например: нормальное позитивное знание исключает монополию каких-либо научных доктрин, теорий или моделей. А в высокомодернистских проектах одна доктрина объявляется монопольно истинной. Или: позитивное знание подразумевает отказ от идеи конечной истины; постижение истины – бесконечный процесс. В высокомодернистских проектах одна доктрина объявляется конечной истиной. Это превращает ее в религию.

Между тем, несмотря на долг социологии перед теорией транзитных (модернизационных) проектов, существует понимание возможных направлений усилий по приведению новых формальных норм в соответствие с системами неформальных отношений при транзите. Вот довольно ясный пример коренных различий между такими системами в демократических и авторитарных обществах. В первых разнообразные отношения имеют преимущественно *горизонтальный* характер. Например, если речь идет о таком фундаментальном отношении, как «доверие», то важно доверие по горизонтали: доверие к соседу, поставщику в бизнесе и т. п. В соответствии с этим и законы, и практика органов власти настроены на обеспечение горизонтальных отношений. Пример: защита контрактного права. Тут уместно напомнить, что в таких обществах и отношения между властью и обществом мыслятся как горизонтальные. И на это работает представление о суде как о посреднике в спорах, а не как о последней шестеренке в цепочке «легитимного насилия».

Иное дело – авторитарные общества, в которых практикуются в основном отношения *вертикального* характера. Если вернуться к случаю отношения доверия, то это доверие по вертикали. Важнее, например, доверять начальнику, а не сослуживцу. Неслучайно одним из главных достижений Наполеон считал Гражданский кодекс, ибо он окончательно разрушил устаревшие вертикальные отношения феодального общества и закрепил горизонтальные отношения прорвавшегося капитализма. Не меньшую роль сыграл Гражданский кодекс в России. Так же как символом возврата к вертикальным отношениям стал мем «вертикаль власти», 20 лет превращавшийся в практику власти. Впрочем, сформулировать вышесказанное как проблему довольно легко. Иное дело, как устанавливать приоритет горизонтальных отношений там, где 70 лет царили вертикальные. Но проблема не столько в этом, сколько в том, что такая проблема не была видна и не ставилась.

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Ниже я буду использовать термин «проектный подход» к ремонту институтов в процессе транзита в духе высокого модернизма, как это практиковалось ранее международными финансовыми организациями и их реципиентами. Тот факт, что подобные проекты брали на вооружение легистский подход к пониманию институтов и методам их ремонта, объяснил Джеймс Скотт, когда писал, что одним из базовых свойств высокого модернизма является любовь к простым теориям⁷⁴. Я буду использовать термин «эволюционный подход» применительно к идеям, которые проповедовали Фридрих фон Хайек и его последователи, говоря о преимуществах спонтанного порядка или соотносясь с соображениями Джеймса Скотта в последних главах его книги, которые корреспондируют с мыслями о *выращивании* институтов, появившихся позже⁷⁵. Последние выглядят привлекательно, но, увы, еще не очень помогают с переходом от формулирования цели к объяснению того, как может осуществляться такое выращивание.

Противопоставление конструирования и выращивания может показаться искусственным и потому непродуктивным по двум причинам. Первая может быть выражена примерно таким возражением: «Выращивание – это тоже проект, почему он должен быть лучше?» Для второй причины можно представить себе иные вопросы-возражения: «Надо бы тогда определиться с понятием проекта. Включает ли оно ясное целеполагание, планирование, контроль и все остальное, что присуще нормальным проектам? И означает ли отрицание проектного подхода отказ от попыток совершенствовать нашу социальность? И мыслима ли движимая такой целью активность людей с отказом от целеполагания, планирования и т. п.? И разве то, что Хайек называл спонтанным порядком, не возникало в результате последовательности конкретных проектов?» Мои ответы на все перечисленные вопросы будут объединены в одну последовательность объяснений.

Мы можем уподобить частному проекту как элементу культурной эволюции конкретное спаривание особей в процессе филогенеза, в результате которого появляется и доводится до жизнеспособного состояния новый представитель данного вида. Целеполагание в виде работающего инстинкта налицо. Просто оно связано не с эволюцией вида, а с более частными «интересами». Но точно так же и с культурной эволюцией – с тех времен, как она фиксируется, и практически по сию пору. Можно даже говорить о специфических формах планирования в виде приманивания самок. Но дело не в этом. Попробуем представить себе эволюцию видов, в которой один представитель вида говорит остальным: «Всем парам предписываю размножаться без всяких мутаций, чистым копированием поочередно отца и матери. Мутации – только мои. И я сам решаю, какие остаются, а какие отбраковываются». В той мере, в какой это реализуемо, такой вид обречен на вымирание. Эта фантазия может показаться совершенно нелепой, если бы она не осуществлялась на практике в сфере культурной эволюции. В частности, именно так осуществлялась научная политика в СССР. Результаты известны. Невежество государства, бесспорно, является тривиальным следствием общего невежества. Но в обществе последнее компенсируется свободой и разнообразием меры невежества. А государство многократно усиливает свое невежество и приумножает его негативные последствия централизованным могуществом своей власти и уверенностью в своей непогрешимости.

⁷⁴ Скотт Дж. Благими намерениями государства. С. 157–158.

⁷⁵ Институты. От заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений [Текст] // Кузьминов Я. И., Радаев В. В., Яковлев А. А., Ясин Е. Г. К 6-й Международной научной конференции «Модернизация экономики и выращивание институтов», Москва, 5–7 апреля 2005 г. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.

Неслучайно главным героем цитировавшейся мною книги Джеймса Скотта является государство, монополизирующее производство социальных изменений. И, как подчеркивает автор, эта монополизация не знает идеологических границ. Пример со сносом трущоб я приводил выше. Итак, главное отличие естественного процесса – это отсутствие монополии. Второе – отсутствие централизации. Например, если мы говорим о формировании неденежного обращения в средневековой Европе, то это нецентрализованный процесс самоорганизации, множественных локальных экспериментов (проектов) и столетия отбора работающих образцов. И только потом появление формального института. Судья внешний, точнее – коллегия судей: время; меняющиеся условия (вроде последствий чумы); непреднамеренные последствия самих микропроектов и просто случайные и не имеющие отношения к делу обстоятельства. В результате отбора побеждает необязательно мыслимый лучшим вариант, но уж точно на некоторое время работоспособный.

Наконец, уместно вспомнить, что человеческая культура имеет опыт «выращивания» в буквальном смысле этого слова. Речь идет о доместикации и селекции растений и животных. Несколько тысяч лет, не располагая никакими знаниями в сфере эволюционной теории, генетики и эволюционной генетики, наши предки совершали культурную революцию и в сфере снабжения себя продовольствием, и в сфере передвижений и перемещения тяжестей, и, параллельно, в социальной сфере (например: прямое убийство животных произвольными людьми отошло в сферу рудиментарных и диковатых развлечений). Мы пока вполне можем быть уподоблены нашим предкам в части нашего понимания нашей социальности. Социология как наука родилась одновременно и под влиянием зарождения социального утопизма эпохи Просвещения. И как наука она часто обслуживала высокий модернизм. А ее заслуги перед, скажем, идеей выращивания институтов просматриваются довольно смутно. Так что мы обречены пока идти по стопам наших предков, пытаясь влиять на свою социальность. Ведь принцип «Не навреди!» здесь уместен не меньше, чем в медицине.

Заключая этот раздел, считаю важным ответить, что Дуглас Норт, как мне представляется, все-таки внес вклад – возможно, не помышляя об этом, – в развитие идей Фридриха фон Хайека. В своей следующей книге Норт резко поменял отношение к институтам: не предлагая жесткого определения института, автор, как следует из названия книги, пытается сформировать новое понимание этой категории у читателей⁷⁶. Что касается моего понимания, навеянного книгой, то я бы сформулировал его в слегка математическом духе: «Институт – это набор из трех взаимосвязанных объектов: формальные нормы, неформальные предписания и условия их функционирования». В книге Норт сводит последний член тройки к убеждениям людей. Но этого явно маловато, тем более что, как доказывает социальная психология, в поведении людей социальные обстоятельства часто довлеют над убеждениями. Но это не очень существенно. Гораздо важнее другое. Столь же ненавязчиво автор проводит мысль о том, что работоспособность института обеспечивается комплементарностью трех компонент, которыми он образуется. Отсюда следует, что эволюционный процесс институционального дрейфа работает именно на формирование такой комплементарности путем отбора и подбора соответствующих компонент и их свойств. Это обеспечивает работоспособность институтов спонтанного порядка. А вот проекты, в которых такая комплементарность целенаправленно конструировалась бы, мне неизвестны.

⁷⁶ Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшая школа экономики, 2010.

О ВЫРАЩИВАНИИ ИНСТИТУТОВ И ТРАНЗИТЕ

Мне крайне прискорбно начинать этот последний раздел статьи с крамольного заявления: «Никаких институтов в реальности не существует». Если бы в результате этого интеллектуального преступления было заведено дело, то грамотный следователь, назначенный на расследование этого гнусного и беспрецедентного преступления, спросил бы меня: «А что же существует?» И я, к этому времени запуганный и деморализованный, начал бы выкручиваться и оправдываться, что, дескать, я не знаю – существуют ли институты в реальности или нет. Это с легистской точки зрения все просто: коли есть формальные законы – вот они, напечатанные в «Российской газете», – то есть и институты. Вот еще: сохранились скульптуры некоторых римских сенаторов; известно здание, в котором они заседали. Значит, в Древнем Риме, поскольку есть такая организация, существовал институт законодательной власти. Но новый взгляд на институты, заведомо более адекватный и работающий, делает их совсем уж эфемерными. Я вот точно признаю, что институты – это сконструированная нами абстракция, которая облегчает нам изучение нашей социальности и, при некоторых дополнительных условиях, влияние на нашу социальность. «Ну хорошо, – скажет следователь, – а есть ли что-то в ваших представлениях о нашей социальности, что можно с высокой степенью убежденности считать существующим в ней?» И я бы почти без раздумий ответил бы, что да, нечто такое существует. Это необозримая совокупность постоянно идущих взаимодействий между людьми. От мимолетных столкновений до важных контактов, как сейчас с моим следователем. Ее трудно себе представить. Она гораздо масштабнее взаимодействий между нейронами в моем мозгу. И каждое взаимодействие сложнее простых сигналов, передаваемых от одного нейрона к другому. И эта совокупность несопоставимо сложнее сети нейронов. А если еще вспомнить, что наши коммуникации (частный случай взаимодействий) подвержены постоянным искажениям передаваемых смыслов, то все станет уже совсем страшно. И все это – наша социальность, точнее – только часть ее. Вот и получается, что приходится мыслить ее, в частности, как совокупность институтов. Но даже здесь мы не рискуем идти достаточно далеко. Например: есть институт брака и есть институт собственности. Как провести границу между ними? И можно ли ее провести? А если нет, как изучать объект, не обладающий границей? Ведь что такое, например, процессы самоорганизации в рамках института? Где эти рамки, и если их нет, как описать процесс? Это были только самые простые вопросы.

Я хотел бы снять с себя по крайней мере часть подозрений в каком-либо интеллектуальном хулиганстве. Ведь все, что я написал про мифичность институтов, есть незамысловатое частное следствие из положений одной из влиятельных современных философских традиций в диапазоне от радикального конструктивизма до эволюционной эпистемологии⁷⁷. Из известных мне направлений философской мысли это в максимальной степени и наперекор традиционным границам корреспондирует с самыми различными и важными продвижениями в современной науке. Неслучайно наиболее фундаментальная теория современного общества воздвигнута в рамках именно этой научной парадигмы⁷⁸. Но мне близко это направление человеческой мысли прежде всего потому, что оно выдвигает наиболее гуманистическое представление о «Человеке познающем», отвергая старое представление о познании как об «отражении реальной действительности» и выдвигая вместо этого человека, познающего окружающий мир,

⁷⁷ Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма в философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.

⁷⁸ Луман Н. Общество как социальная система / Пер. с нем. М.: Логос, 2004; *Он же*. Социальные системы. Очерк общей теории / Пер. с нем. СПб.: Наука, 2007.

конструируя представления о нем и постоянно проверяя свои конструкции. Только такой человек мог создать культуру, как бы мы к ней – в ее разнообразных проявлениях – ни относились.

Поэтому все сказанное в начале данного раздела призвано не напугать, а вызвать настороженность. Социальность на данный момент – самый сложный объект, с которым имеет дело человеческий разум и который испытывает на себе человеческое стремление все совершенствовать. А ведь мы даже еще и не научились толком оценивать ущерб от ошибок в социальном регулировании при вожделенном усовершенствовании. Может, это даже и хорошо. Но дело не в этом, а в том, что настороженность в такой ситуации должна вызываться не сложностью социальной реальности, а нашим пренебрежительно упрощенным пониманием ее, нашей уверенностью в том, что мы ее изучаем, в то время как мы изучаем всего лишь наши примитивные представления о ней. И такая настороженность должна превращаться в осторожность, когда достигнутые нами озарения, восторги в отношении наших новых мыслей о наших новых фантазиях побуждают нас к немедленному совершенствованию нашей социальной жизни. Особенно когда, располагая всеми ресурсами властных полномочий, мы можем осчастливить сразу всех, быстро и невзирая на.

Если вернуться к сравнительно безобидной истории со сносом гарлемов по всей Америке, которую затеяли демократы, получившие власть в богатейшей после войны стране, ею не затронутой, то там ведь случилось вот что. Затеяники были достаточно искушенными, чтобы в новых условиях фиксировать уровень социальных девиаций, которые и послужили причиной всего проекта. И когда они, к своему ужасу, стали постоянно фиксировать рост девиаций вместо падения, они и обратились к социальным психологам. Тот диагноз, о котором писали Росс и Нисбет, был установлен учеными постфактум. А мог быть поставлен до. Я знаю как минимум две подобные истории уже на территории современной России, когда диагноз был тоже патологоанатомическим (в социальном смысле).

Человеческое знание развивалось с наблюдения за ночными и дневными светилами, отдаленными от нас на гигантские расстояния, затем к физическому миру рядом с нами, дальше – к нам самим: нашей физиологии и психике и, наконец, к нашей социальности. Это было движение по нарастанию сложности объектов изучения. Но наш здравый смысл подсказывал другое – что это движение от неочевидного к очевидному. Судите сами: если мы изучаем себя самих, свое собственное устройство, то оно от нас скрыто, пока мы не начали вскрывать себе подобных. Но уж с социальностью-то совсем все ясно. Мы ведь сами всегда внутри нее. И вскрывать ничего не надо! И уж как-нибудь мы сами сообразим, как тут и что. И уж тем более когда мы забираемся все выше и выше по лестнице нашей социальности. И нам все виднее и виднее все вокруг. А результат налицо.

Я склоняюсь к тому, что следование базовому принципу «Не навреди!» неизбежно подталкивает к стратегии выращивания институтов, а не к их конструированию. И, руководствуясь исходным смыслом слова «стратегия», мы должны формулировать, как осуществляется такое выращивание. И начинать надо с создания организации САД – Совет адвокатов дьявола. Это некий синклит злых, но искушенных ученых, общественных деятелей и бывших должностных лиц, которые должны 1) критиковать любые социальные проекты власти; 2) предлагать альтернативные подходы к решению задачи; 3) заказывать исследования, когда не хватает нужной информации; 4) контролировать реализацию проектов в части ее соответствия публично заявленным целям и для выявления непреднамеренных последствий их реализации. Никакой проект не может быть реализован, если он не согласован с такой службой.

Разработка и реализация проектов социальных изменений должны соответствовать следующим принципам (требованиям).

1. Публичность на всех этапах. Это обеспечивает внешний контроль и дисциплинирует исполнителей. Ограничение публичности возможно только в рамках закона и только в инте-

ресах национальной безопасности. Однако такие ограничения могут быть оспорены в суде как наносящие ущерб общественным интересам.

2. *Обоснование необходимости решения именно данной проблемы* в сопоставлении с другими проблемами. Речь идет о расходовании денег налогоплательщиков. Следовательно, нужно получать подтверждение от их имени, убеждая их, что они мечтают именно об этом.

3. *Открытое авторство любого проекта*, независимо от того, является ли автор (авторы) должностным лицом или независимым экспертом. Это заставляет работать (восстанавливать) институт репутации.

4. *Возможность авторского контроля над исполнением проекта*, который может осуществляться под эгидой и от имени САД в случае жалоб авторов на исполнителей.

5. *Наличие измеримых «потребительских» индикаторов достижения желаемого результата*. Предполагается, что любой проект связан с решением некоторых выявленных проблем, в чем заинтересованы граждане или группы важных интересов, страдающие от этих проблем. Их страдания должны уменьшаться в результате реализации проекта, и это должно быть измеримо.

6. *Конкуренция различных методов решения проблемы*. Как правило, крайне спорно, что данный конкретный метод (подход) позволит решить данную проблему. Кроме того, часто оказывается, что разные методы релевантны для разных территорий или социальных групп. Поэтому целесообразно экспериментировать с разными методами. Было бы уместно доверить выбор методов территориальным единицам или социальным группам.

7. *Учет комплексности института как состоящего из трех комплементарных составных частей*. Это значит, что любой проект, связанный с реконструкцией или введением нового института, должен влиять и на формальные нормы, и на неформальные ограничения, и на условия их функционирования. Он должен также способствовать их притирке друг к другу.

8. *Использование ресурсов самоорганизации местных сообществ и внутритерриториальных сообществ*. Есть основания подозревать, что на убеждения людей и сферу их неформальных отношений лучше влиять им самим (в силу деликатности проблемы). Любопытно, что известный план Маршалла предусматривал именно такой подход в делах приучения граждан Германии к демократическим институтам после 1945 года.

9. *Мониторинг реализации проекта и учет выявляемых непреднамеренных последствий его осуществления*. Это предусматривает гибкость планирования проекта с учетом возможности модификации планов в ходе их осуществления. Мониторинг осуществляется руками САД.

Внимательный читатель может заметить, что данный список имплицитно содержит способ порождения проектов, в некотором смысле имитирующих эволюционные принципы. Прежде всего, отдельно выделяется институция (САД), выполняющая, наряду с прочим, функцию естественного отбора. Очень важно, что она отделена и от разработки проектов, и от их выполнения. Предусмотрен элемент случайности и конкуренции мутаций – пункт 6, в том числе и с помощью допуска тех, «на ком» экспериментируют, к выбору того, с чем экспериментируют. В каком-то смысле все это должно быть аналогично селекции, которая также имитирует ускоренный естественный отбор.

Здесь я считаю уместным один терминологический комментарий. Перечисленные выше пункты относятся к тому, что во времена более точного использования важных слов именовали *стратегией*. Позволю себе не очень престижное цитирование из Википедии, где стратегией не совсем точно называют «общий, не детализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельности человека». Здесь самое неуместное слово – «план», а самое правильное – «способ». Ведь стратегия исходно не план (это ближе к тактике), стратегия – это общий подход, метод, совокупность принципов, которыми надо руководствоваться, чтобы выиграть в войне в целом (первоначально, по греческому происхождению понятия). Наши предки три тысячи

лет назад руководствовались уже накопленным к тому времени опытом ведения войн, а потому понимали, что план выигрыша войны – бессмыслица, что он в ходе войны неизбежно будет меняться, что даже боги не всегда могут предвидеть будущее. Ближе к нашим временам произошел семантический сдвиг, когда начали придумывать кучу бессмысленных и даже опасных планов (вроде переселения гарлемов, которое было описано выше). И чтобы придать этим бессмыслицам вес, их стали называть стратегиями. В результате мы стали забывать, что для достижения результата часто важнее понимать КАК делать, а не ЧТО делать. Короче говоря, предложенное выше – пунктирный набросок стратегии, т. е. представления о том, КАК делать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашем распоряжении есть один ресурс, который столь же важен, сколь и пренебрегаем. Это наш социальный опыт, политический опыт, особенно когда речь идет о негативном опыте. И есть страна, которая богата неисчерпаемыми залежами этого ресурса – негативного опыта, не меньше, чем природными ресурсами. Разбазаривать этот уникальный ресурс столь же безнравственно, как и природные ресурсы. В сфере обобщенно социального, особенно в его политической зоне, негативный опыт традиционно влечет отрицание и замену. Последняя стандартно не более обоснована, чем то, что было до нее и привело к отрицательному результату. Все это к тому, что богатый отрицательный опыт требует вдумчивого анализа и не менее вдумчивых выводов. Выводов не о замене, а о следствиях. В том реальном мире, в котором мы живем, в мире, если использовать придуманную нами терминологию, который переполнен нелинейной динамикой, в котором хаос сосуществует с порядком, надо уметь задавать социальной природе нестандартные вопросы и не искать единственно правильного ответа.

Представляется, что соображения, изложенные выше в этом тексте, вряд ли покажутся экстравагантными тем, кто достаточно внимательно следит за происходящим в науке последние тридцать лет, помимо модных тем. Но не уверен, что они придутся по вкусу остальным. Изменения в науке и в научном мировоззрении характеризуются растущим отрывом от того, что принято называть здравым смыслом, стремительно становящимся архаичным. Но надо думать о том, как это преодолевать, и делать это.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТОРОВ ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ⁷⁹

*Владимир Гельман (Европейский университет, Санкт-Петербург,
Университет Хельсинки, Хельсинки)*

Тридцатилетие краха коммунистических режимов в Европе и СССР – весьма полезный повод для критического переосмысления не только самих посткоммунистических трансформаций, но также исследовательских подходов к их изучению. За три десятилетия эти подходы поменялись на 180 градусов: на смену явно неоправданному оптимизму, который господствовал вскоре после 1989 года, три десятилетия спустя пришел не менее неоправданный пессимизм. Многие ученые, эксперты и аналитики, изучающие посткоммунистический мир, наперебой предлагают объяснения неудач демократизации и словно соревнуются в мрачных прогнозах на будущее, сознательно или нет впадая при этом в смертный грех уныния. Я полагаю, что такой фокус исследовательской повестки является контрпродуктивным и в познавательном плане: он носит детерминистский характер и не помогает выявить источники и механизмы политических изменений. Он подменяет ответ на вопрос о том, почему у России (и не только) не получилось встать на путь демократизации, либо утверждениями о том, что у этих стран ничего хорошего получиться в принципе не могло, либо инвективами в адрес Путина и многих других политиков.

В качестве альтернативы господствующим подходам я предлагаю такой взгляд на политическую динамику в посткоммунистических странах, который концентрируется на анализе интересов и стимулов основных политических игроков и тех ограничений, с которыми они сталкиваются в политическом процессе. Смена аналитической оптики с нормативной («как должно/не должно быть») на позитивную («как на самом деле») открывает возможность выявить причины сходств и различий путей преобразований в посткоммунистических странах в ходе сравнительного анализа и дает основания для более обоснованных поисков ответа на вопрос «почему?».

ПО ТУ СТОРОНУ ПЕССИМИСТИЧЕСКОГО КОНСЕНСУСА

Начало 1990-х можно назвать самым счастливым моментом в истории для исследователей демократии. Падение Берлинской стены, а затем и крушение коммунистического строя, казалось, расчистило путь для ее торжества в мировом масштабе и, как считалось, должно было привести к «концу истории»⁸⁰ – завершению манихейского конфликта между Добром и Злом. Проявлением чуть ли не единодушного оптимизма относительно будущего демократии и политической динамики в Европе, Евразии и других регионах мира стали десятки книг и сотни статей с многообещающими названиями вроде «От коммунизма к демократии». В какой-то мере эти концепции напоминали голливудские фильмы, построенные вокруг конфликта между «хорошими» и «плохими» парнями: в конечном итоге «хорошие парни» побеждают и все заканчивается хэппи-эндом. Но реальная жизнь намного сложнее голливудских блокбастеров. Эпоха «больших надежд» сменилась эпохой «великих разочарований». Сегодня многие, а то и большинство ученых, наблюдателей и аналитиков расценивают политические тенден-

⁷⁹ Первоначальная англоязычная версия статьи опубликована в журнале *Post-Soviet Affairs* (2018. Vol. 34. № 5).

⁸⁰ *Fukuyama F. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992.*

ции в посткоммунистическом мире как практически безнадежные. Продолжая кинематографические аналогии, можно сказать, что в политической науке произошел переход от «голливудской» парадигмы к стилистике «а-ля фильм-нуар»: положительных героев не существует в принципе, есть только отрицательные, а общемировая политическая динамика сегодняшнего и завтрашнего дня выглядит мрачно. С одной стороны, новые вызовы, с которыми столкнулись развитые демократические страны, и неадекватные реакции демократических правительств в условиях глобального тренда к «новому популизму» ставят под сомнение, если не дискредитируют саму идею демократии, и по всему миру вновь поднимает голову «скромное обаяние» авторитаризма в его новой ипостаси. С другой стороны, некоторые авторитарные режимы оказались весьма «живучими», а старые и новые демократии во многих регионах мира (отнюдь не только в постсоветской Евразии) сталкиваются с множеством проблем в экономической и политической сферах. И частичная реставрация реального или воображаемого «старого доброго» недемократического порядка зачастую рассматривается как достойная альтернатива неприглядному статус-кво.

Эти тенденции не могли не оказать влияния на исследования динамики режимов постсоветской Евразии: сегодня здесь фактически господствует «пессимистический консенсус». Тот факт, что ни в одном из двенадцати государств бывшего СССР (за исключением стран Балтии) за почти 30 лет независимости не была построена даже минималистская электоральная демократия, подталкивает ученых самых разных взглядов и направлений к выводу, что как минимум в обозримом будущем дальнейшей демократизации здесь ожидать не следует. Что же касается России, то практически все считают, что авторитаризм сохранится в ней надолго. Эти преобладающие представления отражены в названии недавно вышедшей книги – «Просуществует ли путинская система до 2042 года?»⁸¹. В лучшем случае ученые выражают осторожную надежду, что долгосрочные эффекты экономического роста, наряду со сменой поколений, смогут через несколько десятков лет создать благоприятные условия для демократизации в России⁸². И хотя экономисты высказывают сомнения в возможности устойчивого роста и развития российской экономики в условиях низких цен на нефть и санкций⁸³

⁸¹ *Травин Д.* Просуществует ли путинская система до 2042 года? СПб.: Норма, 2016.

⁸² *Hale H. E.* Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2015; *Treisman D.* Income, Democracy, and Leader Turnover // *American Journal of Political Science*. 2015. Vol. 59 (4). P. 927–942.

⁸³ World Bank. Modest Growth Ahead: Russia Economic Report. 2018. № 39; <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29913/127254-WP-PUBLIC-ADD-SERIES-JunefinalRussiaEconomicReportENG.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (доступ 29 января 2021).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.